

ЕВГЕНИЙ
СУХОВ



РУСЬ
ОКАЯННАЯ



ТАЙНАЯ
ЛЮБОВЬ
КНЯГИНИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Лихие леты Ивана Грозного

Евгений Сухов

Тайная любовь княгини

«ЭКСМО»

2000

Сухов Е. Е.

Тайная любовь княгини / Е. Е. Сухов — «Эксмо»,
2000 — (Лихие леты Ивана Грозного)

Великий князь всея Руси Василий Третий, не дождавшись от своей жены Соломонии наследника, ссылает постылую супругу в монастырь. Новая государыня – литовская княжна Елена Глинская оправдала надежды Василия и родила ему долгожданного сына, получившего впоследствии мировую известность под именем Ивана IV Грозного. Семейное счастье, однако, длилось недолго, Василий Третий погибает от колдовского наговора. Хрупкую вдову и ее малолетнего сына-престолонаследника пытаются отрешить от власти мятежные бояре и братья покойного государя. В ход идут и военная мощь, и подкуп, и самое эффективное оружие того времени – нечистая сила. На защиту престола встает фаворит Елены – могущественный вельможа и знаменитый воевода Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Борьба за Кремль идет с переменным успехом.

© Сухов Е. Е., 2000

© Эксмо, 2000

Содержание

Часть первая	5
ПО ВОЛЕ ГОСУДАРЯ	5
БОЖИЙ ПРОМЫСЛ	9
МИХАИЛ ГЛИНСКИЙ – ПОКОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ	11
ЗАЗНОБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ	18
НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА	21
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЕВСТВА	23
ТАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	25
ОТЕЦ, МАТЬ И СЫН	27
ФИЛИПП КРУТОВ – МЕЛЬНИК И КОЛДУН	30
РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ ГОСУДАРЯ	33
ГОСУДАРЫНЯ И КОНЮШИЙ	35
МЕЖНЯК	39
ПЕРВЕНЕЦ	42
ПОЕДИНОК	44
ХРАМ ГОСПОДЕНЬ	49
ОСВЯЩЕНИЕ	51
КОЛДОВСКАЯ СИЛА	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Евгений Сухов

Тайная любовь княгини

Часть первая ЛИТОВСКАЯ КНЯЖНА

ПО ВОЛЕ ГОСУДАРЯ

– Отворяй ворота! – громко стукнув чугунным кольцом в калитку, прокричал великовозрастный детина. Ветер терзал полы его длинного кафтана, которые то и дело отирали заляпанную грязью голенища. – Негоже государевым посыльным на дворе дожидаться.

– Сейчас, родимые, – послышался из-за стены голос монахини-вратницы. – С обедни уже ожидаемся. Как вчерась государь-батюшка весточку послал, так и ждем вас, глаз не сомкнем.

По-особенному ярок был нынешний грозник.¹ Едва солнце скроется за горизонт, а уже обжигают небо зорницы, вспыхивая огромными кострами. Но ярче всего полыхала Стожар-звезда, напоминая чудный цветок с красными лепестками, растущий в самой глухомани древнего леса. И цветок этот способен наказать всякого, кто без надобности бьет дикого зверя и топчет колдовскую траву.

А потому к Стожару относились с особой почтительностью: едва вспыхнет звезда, как мужи, сняв шапку, отвешивают глубокий поклон, опасаясь, что она сорвется с черного покрова неба и свалится неразумному за шиворот. Вот тогда непременно жди беды: либо задавит насмерть, либо возгорится упавшая звезда и спалит дотла избу.

Детина глянул на небо, отыскал звезду Стожар и, мысленно попросив удачи в необычном деле, прикрикнул на возникшего:

– Чего застыл? Али особой милости ожидаешься? Въезжай в монастырь!

– Но, пошла! – поторопил кобылу совсем юный возникший, и каптана,² кособочась, въехала в распахнутые ворота монастыря, громко стукнувшись жестким ободом о край ямы. – Чтоб тебя язва взяла, старая! – Длинный, в три хвоста, кнут опустился на широкую спину лошади.

– Игумен-то где? – окликнул вратницу детина. – Сказано ему было, чтоб у порога встречал и поклон отбивал до самой земли. Не каждый день такая гостья жалует!

– Здесь я, батюшка. – Владыка признал в детине конюшего.³ – Который час жду. Едва в келью прошел, а тут стук за воротами.

– Смотри у меня! – на всякий случай погрозил боярин. – Сам хочу взглянуть, где твоя гостья жить будет. Показывай келью.

– Как скажешь, Иван Федорович. Как только государь наш Василий Иванович гонца с известием прислал, так мы сразу для матушки место подобрали. Подле меня жить будет, – пообещал игумен, – а я-то уж присмотрю за государыней. А вы, монахини, Соломону Юрьевну под руки ведите.

Игумен поднял фонарь, тот полыхнул яркой зарницей и осветил дорогу в мурованную⁴ келью.

¹ Грозник – июль.

² Каптана – карета.

³ Конюший – высший боярский чин.

⁴ Мурованная – каменная.

Каптана, громыхая расшатанными осями, въехала на монастырский двор и остановилась. Громко скрипя, распахнулась настезь дверца, и, повязанная до самых глаз черным платком, на булыжник сошла женщина. В ее прямой осанке и в горделивой походке чувствовалась порода, и старицы,⁵ не избалованные посещением знати, согнулись перед нею так низко, будто встречали самого митрополита.

Инокони бросились к гостье, пытаясь поддержать ее под руки, но женщина, строго глянув на них, изрекла:

– Путь к темнице я уж как-нибудь сама отыщу. – И уверенно зашагала по узенькой тропе в сторону монастырских строений.

Трава благоухала. Запахи мяты и полевых ромашек наполнили воздух, и его аромат напоминал хмельной напиток, который способен будоражить желания, неуместные в женском монастыре.

– Он меня еще узнает, – зло шипела Соломонида, с каждым шагом приближая свое заточение.

– Матушка, – у дверей ее будущего пристанища стоял конюший, – келью с твоим теремом не сравнить, но это куда лучше, чем темница.

– Посмотрим, боярин.

Маленькая красивая голова отставной государыни была упрятана под темный капюшон, подобно тому, как яркая гусеница прячется в безликий кокон. Соломония развязала огромный узел на затылке и выпустила на свободу упругие пряди густых шелковистых волос. Даже сейчас, когда молодость ее была уже позади, великая княгиня не растеряла привлекательности, а в ее очах еще не угас огонь страсти, который, казалось, был куда ярче пламени, бившегося в фонаре инокини.

– Игумену я сказал, чтобы к тебе приставили двух послушниц – они выполняют любую твою волю.

Конюший Овчина-Оболенский подумал о том, что едва ли не впервые рассматривал государыню, не таясь. Чаше приходилось видеть ее лицо украдкой – на богомолье в соборе или на раздаче большой милостыни. А если случалось столкнуться с великой княгиней в полутемных коридорах дворца, то со страху боярин пригибался так низко, что мог видеть только голенища ее сапог и замысловатые вензеля на их носках. Сейчас, когда Соломония в одночасье переродилась из государыни в обыкновенную старицу, он не мог наглядеться на нее. Хороша баба! До великой княгини, всегда отгороженной от челяди множеством мамок и верховных боярынь, он сейчас мог дотянуться рукой и едва удержался от соблазна, чтобы не коснуться ее одежд своей грубой шершавой ладонью.

Государыня лико не отворачивала и взидала на Овчину-Оболенского спокойно и строго, как богородица на кающегося грешника.

– Знаю, князь, о том, что ты близок Василию и делитесь вы друг с другом секретами, как две кумушки, столкнувшиеся у колодца. Скажи мне как есть, Иван Федорович, приглядел ли себе любаву муж-государь? Может, обойдется все? Подержит меня малость в монастыре да отгадет сердцем? – В черных, словно весенняя распутица, глазах княгини вспыхнул огонек надежды.

– Не обойдется, матушка, – честно ответил Овчина. – Давно он помышлял тебя в монастырь сослать, да никак не решался. Митрополит больно строг, все вторил: «Бог оженил, только он один и может развести». Не скрою, матушка, Василий не единожды говорил, что наследник ему нужен, а Соломонида бездетна. Он послов в Ливонию засылал, среди местных красавиц суженую присматривал. А как митрополит Даниил смилостивился и обещал брак расторгнуть, он тебя и запер.

⁵ Старица – монахиня.

– Кого ж он вместо меня-то присмотрел? – скривила губы Соломонида.

– Воистину, матушка, не сыскать тебе замену, как бы жарко того великий князь ни желал, – вполне искренне ответил боярин.

Соломония вошла в келью, огляделась по сторонам: стены толстые, словно в крепости, а потолок низок и тяжел, как крышка домовины.⁶

– Неужно весь век здесь доживать? – уныло пропела государыня. – А я ведь еще молодая, князь. Ты посмотри на меня, неужно так плоха?

Лампада едва тлела, бросая тускло-желтый свет по сторонам. Полумрак не испортил Соломонию, наоборот – лицо ее как будто приобрело свежесть, а едва различимые морщинки скрывала матовая бледность.

– Хороша, государыня, – признался боярин и едва нашел силы, чтобы отвести взор. – Ну... пойду я. Неблизок путь, до рассвета бы обернуться.

– Пстой, – придержала молодца великая княгиня, едва коснувшись его широким рукавом. – Али уже надоела? Посмотри, Иван Федорович, как мне монашеский куколь⁷ идет. Ну разве не хороша? – При этом Соломония подняла свою рясу по самые колени.

Ноги у Соломонии оказались длинными и упругими, и она напоминала кобылицу, поставленную в стойло к племенному жеребцу.

«Экое диво! – подумал боярин. – Не всякий раз удавалось разглядеть лико Соломонии, а тут ноги зреть довелось. Господи, дай мне крепости, чтобы воспротивиться проiscaм дьявола».

Насилу отведя взгляд от полных коленок великой княгини, Овчина-Оболенский устоялся на икону, с которой умиротворенно взидала Владимирская Богоматерь.

– Хороша, матушка, слов не сыскать, – не покривил душой Иван Федорович, думая о том, что, ежели была бы Соломония простой девицей, подхватил бы он ее в охапку и подмял бы на жестких нарах.

Дверь отворилась, и игумен, просунув в келью бородатое лицо, спросил:

– Может, надо чего, матушка?

– Поди прочь! – осерчала вдруг государыня. – Видеть никого не желаю! С князем мне наедине перемолвиться нужно.

Овчина подумал, что еще мгновение – и великая княгиня, сняв сапог, запустит им прямо в угодливое лико владыки, как это делает сердитая купчиха, поучая надоедливую челядь.

Когда же игумен неслышно притворил за собой дверь, Соломония заговорила совсем другим голосом:

– Василий все глаголил, что пустопорожня я. Двадцать лет прожили, а дите так и не нажили. А может, не у меня изъян, а у князя московского? Сколько девок мой муженек перебрал, да только ни одна из них от него понести не сумела. Мне бы помудрее быть – к молодцу какому подластиться. И налюбилась бы я всласть, и еще муженьку наследника бы народила. Ой, господи, что ж это я такое говорю?! Помилуй мя, праведный, и укрепи!

Овчина-Оболенский стоял недвижно. Своей невозмутимостью боярин напоминал огромный валун, лежащий в поле. Как его ни двигай, как ни тяни, а только не сокрушить – попирая столетия, растет он из недр земли со времен Адамова греха.

– Матушка, ты бы прилегла – устала, видно, с дороги, – отозвался наконец Иван Федорович.

– Испугался? – удивилась великая княгиня. – А я слышала, что ты воевода не из трусливых. Будто бы рубишься в сечах, не уступая дружинникам.

Матушка сделала шаг навстречу, и ее руки, словно тяжелые цепи, опутали плечи князя.

⁶ Домовина – гроб.

⁷ Куколь – монашеский головной убор в виде капюшона.

– То сеча, – отвечал Иван, чувствуя на лице жаркое дыхание государыни. – А здесь... Да и не смею я, матушка.

– А ты посмей. – Соломония все крепче прижималась к груди Овчины. – А может, ты великой княгиней брезгуешь? А может, вообще баб боишься? Иль тебе моя монашеская ряса мешает? Так я тебе сейчас помогу, – тихо пообещала государыня и, ухватившись пальцем за подол рясы, принялась стягивать ее через голову, оголяя покатые бедра, небольшой округлый живот и налитые груди.

Уже не в силах совладать с собой, Иван Федорович скинул охабень,⁸ бросив его подстилкой на жесткую кровать, и жадно потянулся пересохшим ртом к упругим грудям великой княгини.

⁸ Охабень – кафтан с четырехугольным отложным воротником и длинными рукавами.

БОЖИЙ ПРОМЫСЛ

Государь Василий Иванович слыл охотником искусным. Редко возвращался он с охоты без богатой добычи, а настреляв лишь дюжину зайцев, день считал неудачным и добычу раздавал довольной челяди.

Великий князь уже третий час сидел в засаде. В государевой власти было окружить лес расторопными загонщиками, которые, покрикивая и гремя трещотками, прошлись бы через хвойные заросли и вытолкнули бы зверя прямо под стволы охотничьих пищалей. Умелые сокольники могли бы уток согнать с поднебесья и направить крикливую тучу прямо на государевы стрелы. Многоопытные медвежатники сумели бы обнаружить лежанку хозяина леса, и Василий Иванович, с рогатиной в руках, мог бы смутить покой лесного воеводы. Но великий князь всея Руси решил положиться на волю провидения господня, ожидая, что зверь сам выйдет к тайнику.

Однако лесная тропа долгое время оставалась пуста, и лишь однажды поляну плутовато перебежала рыжая косуля.

Василий Иванович стал уже подумывать о том, что зря положился только на божью милость, как вдруг на поляну вышел огромный лось. Его рога больше походили на соху, какой рачительный крестьянин вспахивает озимое поле.

Толстая шкура зверя несла на себе следы многих поединков, кривые шрамы заросли бурой шерстью, и только на самой морде зияла плешь.

Остановился лось, повел крупной головой, словно ожидая кого-то увидеть, и нетерпеливо ковырнул копытами, выдрав из земли пук травы.

– А лось-то непростой, Василий Иванович! – отметил Овчина-Оболенский. – Глянь на рога, какой-то кузнец их в золото приодел.

Лось и впрямь был золоторогим, словно на лбу его разместились княжеская корона.

Выглянуло из-за туч солнце, и рога, отразив его лучи, на миг ослепили государя.

– Ишь ты, как ярко, – подивился Василий Иванович чудному зрелищу, опустив пищаль. – Кто же ему такую корону подарил?

– Это Михаил Глинский постарался, – отозвался Иван Федорович. – Он тут с племянницей зимой проезжал, когда на него волки напали. Думал – разорвут. А тут из леса сохатый вышел. Не поверишь, государь, все зверье рогами пораскидал. Потому князь велел лося изловить и рога его золотом изукрасить, чтобы охотники издали видели и тронуть не смели. А ежели кто пойдет на бесчинство, обещал живота лишить.

– А с какой такой племянницей Глинский ехал, уж не с Еленой ли?

– С ней самой, государь.

Василий Иванович неспроста таился в засаде. Полагаясь на божий суд, он решил – если выйдет к тропе лось, значит, быть в недалеком будущем свадьбе, если ожидание станет напрасным – холостым будет жить целый год.

– Иван Федорович, – строго глянул на князя государь, – сватом моим будешь?

Овчина-Оболенский расположился на пне, неровный срез которого оказался неудобен для седалища, но князь решил терпеть, опасаясь одним своим неосторожным движением нарушить безмятежность зверя.

А лось, не подозревая о близком соседстве, толстыми губами рвал сочную зелень.

– Василий Иванович, за честь великую сочту. А в невесты кого метишь?

– Елену Глинскую.

– Вот как! – не сумел скрыть удивления князь.

Следом за сохатым из чащи вышли три лосихи и, утопая по самое брюхо в многотравье, покорно приблизились к великану. Они терлись боками о его морду, беззастенчиво ластились к самцу и напоминали обычных баб, добивающихся мужниной ласки.

Василий Иванович вдруг вскочил, неожиданным своим появлением нарушив тайну свидания лесного великана и его подруг, а потом, набрав в грудь поболее воздуха, засвистел, вложив в этот свист всю государеву душу.

Лось поднял голову, тревожно поводит ушами. Некоторое время его огромные, слегка выпуклые глаза как бы с укором взирали на возмутителя спокойствия, и наконец он нехотя побежал в чащу, увлекая за собой самок.

МИХАИЛ ГЛИНСКИЙ – ПОКОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ

Чернобожий лес находился в пятнадцати верстах от Москвы, но, несмотря на близость к городу, он был нелюдим. Редкий путник отваживался побеспокоить его своим присутствием. Лес был темен, его густые заросли не могла пересечь ни одна тропа, и дороги опасливо сворачивали в сторону, едва столкнувшись с разросшимися кустами.

Лес был угрюм и страшен, как языческий Чернобог, чей храм когда-то возвышался на вершине горы.

Сейчас, как и во времена седого язычества, старый Чернобог требовал для себя все новых жертв. И если раньше кровавый дар приносился добровольно, то теперь множество леших, водяных, кикимор, оборотней и разных других злых сил всевозможными хитрыми путями уводили москвитов в колдовскую чашу и скармливали человечину жестокому богу.

А потому девицы с молодцами не кружили здесь свои хороводы, не прыгали на веселого Купалу через огромные костры, а счастливые пары проводили свои сладкие ночи в других, более подходящих местах.

Не однажды митрополит московский Даниил в сопровождении архиереев выходил к чаще, чтобы каждением и многими молитвами повытравить злые силы. Дьяки разбрызгивали святую воду, крестили темные глубины заколдованного леса и, свершив очищение, с облегчением уходили восвояси. Однако не проходило и недели, как нечистая сила вновь изрыгалась из ада, и все оставалось по-прежнему. Москвиты подмечали, что ведьмы опять летают над лесом нагишом, а водяные девы снова аукаются между собой такими истошными голосами, что знобило не понарошку.

Зверья в этих местах водилось на диво много, но москвиты были убеждены, что травить его нельзя, так как заговоренные и проклятые принимали обличье животных и неприкаянными шастали в заповедном лесу.

Знающие люди поговаривали, что заколдованный лес таит в себе богатства несметные. Будто бы во времена Ильи Муромца и Змея Горыныча прятали здесь сокровища лихие люди, оставляя клады под охраной невинноубиенных и проклятых душ, которые и поныне служат грешным хозяевам пошибче цепных псов. Много было охотников дознаться, где скрываются сокровища, однако всякий, кто переступал заповедный лес, погибал лютой смертью, и белые его косточки валялись на земле, словно разбросанные камни.

Если кто и находил управу на нечистую силу, так это медведи, которые своим ревом наводили страх на кикимор и леших, чьи испуганные голоса тогда долго верещали на дальних болотах. Находились смельчаки, желающие повытравить этих злыдней совсем. Они заходили в глубинные чащобы, ведя за собой прирученных медведей. Громыхали тяжелые цепи, стучали колотушки, стреляли пищали. Медведи давили кикимор лапами, скалились на леших и норовили цапнуть водяных за длинное хоботье. В лесу царил такой страшный переполох, что злая сила в опрометь сбегала в запредельные места. Но нечисть возвращалась вновь, едва звери поворачивали на хозяйский двор для увеселения публики.

Именно этот лес и облюбовал для своего жития Михаил Глинский, которого самого вполне можно принять за князя нечистой силы не только из-за его грозного обличья – он походил на такового и по характеру. Князь Михаил был огромен, вопреки обычаю, никогда не брил головы, и волосья густыми прядями свешивались на его плечи. К тому же он слыл таким сквернословом и задирой, что его, как чуму, за многие версты обходили ближние бояре.

Огромный дворец Михаила Львовича высился на краю леса, а забор высотой в двадцать локтей⁹ скрывал то, что в нем деялось, хотя всем и так было известно, что здесь по ночам собирается всяческая нечисть.

Михаил, единственный среди мужей, без опаски охотился в колдовском лесу, и москвиты уверяли друг друга, что лешаки подгоняют под стволы князя стада оленей и косуль, щедро расплачиваясь с ним за гостеприимство.

В московском дворце Михаил Львович появлялся не часто, разве что в крайнюю нужду: непременно бывал на похоронах и свадьбах родственников. И поскольку Глинский знал ся с различной нечистью, дружки и кумовья всякий раз слезно просили его пройтись впереди свадебного поезда и обсыпать дорогу сором, который стал бы преградой злобе да напасти. И чудно было наблюдать за тем, как впереди лошадей шествует знатный князь, размахивая во все стороны кулаками и грозя в голос кромешникам¹⁰ и пакостникам.

Михаил Львович был известен на Руси задолго до приезда в Москву. Говаривали, что он богат не только землями, но и умом. Слыл боярин большим ценителем крепкого португальского вина и юных дев. Еще до того, как строгий отец отправил молодого Глинского за знаниями в далекий Рим, немало хорошеньких графинь впервые познали сладость любви именно в его постели.

В Риме, в отличие от Риги, его любовные победы ни у кого не вызывали ни зависти, ни одобрения: там у всякого кабака можно было встретить немало девиц, завсегда готовых оказать нетерпеливому юноше любовные услуги за весьма скромную плату.

Но Рим покорила Михаила не только податливыми девицами в оранжевых чулках, но и великолепными готическими соборами, казалось, подпирающими небо.

Бедовая натура Глинского не мешала ему учиться живописи, и князь темными вечерами рисовал хорошеньких натурщиц, а короткими ночами проверял – так ли они прелестны и нежны, какими он сам изображал их на картинах.

Михаил Львович учился также на факультете богословия, кроме того, посещал известных астрономов и, прильнув глазом к телескопу, с восторгом рассматривал таинственный мир звезд.

Отцу Михаил отписывал восторженные письма о Вечном граде, хвастался успехами в учебе и непременно просил денег, ссылаясь на то, что светское общество весьма притязательно и, кроме громких титулов, ценит еще и крупные состояния. Старый Лев Глинский поощрял в сыне как тягу к знаниям, так и любовь к светской жизни, а потому в средствах не ограничивал.

Скоро о молодом литовском князе заговорил весь Рим. Михаил сумел добиться расположения даже герцогини Анны, племянницы самого папы, и девушка каждый вечер увлекала молодого княжича в родовой склеп, но довольно быстро страсть герцогини стала раздражать непостоянного литовца, и он вместо фамильного склепа любвеобильной Анны вновь стал посещать тихие каморки непритязательных итальянских проституток.

Возможно, Михаил Глинский так и жил бы в Риме, сочетая приятное с полезным, прослушал бы полный курс богословия и вернулся в Ригу в степени магистра, где под звуки соборного органа наставлял бы хорошеньких грешниц на путь боголюбия и истины. Но однажды, загрустив дюже по дому, он в сердцах обрушил глиняную кружку с пивом на голову не понравившегося ему незнакомца, который, на беду, оказался племянником декана. Юношу вытащили с того света за пятки, а Михаилу Глинскому пришлось из столицы Возрождения уносить ноги.

Он бежал морем, нанявшись обыкновенным матросом, и полгода вместе со всеми поднимал паруса и драил швабрами палубу, пил ром и посещал портовых жен, а в искусстве сквер-

⁹ Локоть – около 0,5 метра.

¹⁰ Кромешник – обитатель преисподней.

нословия сумел обойти самого капитана, и матросы, признав его превосходство в этой области, уважительно обращались к нему «сэр».

Но в конце концов Михаилу Глинскому наскучило морское однообразие, и он решил сойти в Любеке.

Михаил Львович не стал медлить и отправил отцу письмо с посылным, в котором указал новый адрес и нижайше просил деньжат.

Подумав, он приписал:

«Сам себя не узнаю, батюшка. Одежонка, что на мне, похожа на ту, что носят христороубцы, сидящие в Пасху перед соборами и выпрашивающие денежку».

Батюшкин ответ не заставил себя долго дожидаться: «Дурнем был, дурнем и помирать будешь. Шлю тебе золота, трать, да знай меру – и нашему княжескому достоинству конец прийти может. Ты для меня что церковное пожертвование – ни прибытку от тебя, ни чести. Вложил, словно в реку добро бросил».

Возможная нищета заставила Михаила совсем по-иному взглянуть на мир. Скоро своей расчетливостью, а подчас и скупостью стал он удивлять даже чрезмерно практичных немцев и через год приумножил батюшкины гривны втрое, а на Рождество отослал старому князю золотую статуэтку нагой Афродиты.

Затем Михаил Львович перебрался в Гамбург, где сумел зарекомендовать себя умелым, оборотистым торговцем, скупая почти даром недвижимость у разорившихся купцов, а потом выгодно продавая ее. Однако в вольном городе Глинский тоже не задержался и скоро съехал в Испанию, где ему стал покровительствовать сам король. Тот даже хотел женить князя на своей племяннице, и только яростный протест со стороны Михаила заставил его изменить решение.

Михаил Глинский смелым поведением сумел добиться уважения мужчин, а остроумными замечаниями – расположения дам. И уже никто не удивлялся, что перед улыбчивым литовцем распахивались двери самых притязательных домов Испании, а добрая половина родовитых дворян Мадрида мечтала видеть его в качестве почетного гостя. Отцы уважаемых семейств посматривали на Глинского оценивающе и не прочь были заполучить его в зятя. Многие из них даже не подозревали о том, что он наведывается к их дочерям не только через парадные двери...

Возможно, Михаил Глинский и женился бы на хорошенькой дворянке и затерялся бы в свите испанского короля, если бы не строгий наказ стареющего отца искать супругу только в родных краях. Старый князь опасался, что, женившись на чужбине, любимый сын так и останется в далекой стороне и некому будет передать фамильные землевладения, которые составляли едва ли не половину великого княжества Литовского.

Михаил Львович Глинский вернулся на родину только через десять лет скитаний. Уезжал он в Рим едва ли не безусым отроком, а возвратился назад опытным мужем, почти достигнув тридцатилетнего рубежа. За его спиной остались дороги многих государств Европы, разбитые сердца двух дюжин графинь и трех герцогинь, несметное количество выпитого портвейна и победы на пяти дуэлях. За ним, как шлейф за благородной дамой, тянулся ворох всевозможных историй, и трудно было понять, где правда, а где морока.

Совсем скоро Михаил Глинский оженился, взяв в супружницы дальнюю родственницу великого литовского князя Александра, тем самым расположив его к себе, но одновременно пополнив список своих врагов и недоброжелателей.

Князь Глинский сумел сделаться доверенным лицом Александра, и тот без его участия не принимал уже ни одного серьезного решения – будь то объявление войны или расставание с очередной любовницей. Оставшиеся не у дел паны зло надсмехались над великим князем и говорили, что Александр любит Глинского куда больше, чем собственную жену.

Они терпеливо ждали какого-либо неверного шага государева советника, но Михаил Львович не промахнулся ни разу и прирастал не только новыми землями, но и плотью, неустанно раздаваясь вширь, и скоро стал напоминать медведя в канун спячки.

Незадолго до смерти Александра Глинский доказал, что неплохо себя чувствует не только в дамских будуарах, но и на поле брани – он сумел разгромить крымскую тьму, вторгнувшуюся в пределы Литовского княжества. И очень скоро Михаил Львович стал едва ли не единственным властителем Ливонии. Именно он был душеприказчиком почившего князя, схоронив его с надлежащей честью в городе Вильно.

Король польский и великий князь литовский Сигизмунд прибыл в Ливонию сразу после смерти брата Александра. Он вез с собой железную клетку, в которую, по наущению ливонских панов, хотел засадить Михаила Глинского. Но когда тот вышел к новому государю без дружины и с поклоном протянул скипетр, выпавший из рук почившего Александра, Сигизмунд сказал, что ценит его преданность и обещает сохранить за князем и родовые замки, и вновь приобретенные земли.

Однако Михаил Львович уже совсем скоро ощутил на своих плечах тяжесть королевской длани: Сигизмунд отобрал киевское воеводство у его брата Ивана, а самого Михаила Глинского пообещал заточить в замок, если тот надумает вступить за родственника.

Привыкший быть первым, Михаил Львович сполна ощутил на себе горечь государевой опалы. Теперь каждый шляхтич орал ему в спину обидные слова, а давний враг Ян Заберезский, сделавшийся доверенным лицом государя, во всеуслышание называл его в Раде изменником. Пан убеждал Сигизмунда, что Глинский давно помышляет оторвать от Польши огромный кусок с городом Киевом, чтобы воссоздать Русское государство в прежних его границах.

Михаил Львович требовал королевского суда за клевету, но Сигизмунд, постоянно занятый оленьей охотой, всякий раз откладывал дело. А потом и вовсе решил показать князю Глинскому на дверь.

– Видит господь, я сделаю то, о чем нам предстоит пожалеть обоим, – с порога произнес Михаил и, хлопнув на прощание дверью, покинул королевский дворец.

С отмщением Глинский медлить не стал: в этот же вечер князь отписал московскому государю Василию письмо, что Сигизмунд слаб, что воинство его рассредоточено и лучшего времени для атаки на польские гарнизоны не найти. А помощи королю ждать неоткуда.

Ответ не заставил себя долго ждать. Русский посольный поклонился князю, как было велено московским государем, трижды до земли, а потом сообщил, что Василий Иванович уже отправил дружины под Вильно и будет рад видеть Михаила Львовича в своем воинстве. Наградой и почестями не обидит, ежели князь Глинский выступит против польского короля немедля.

Михаил Львович аккуратно свернул грамоту, крепко затянул ее тесьмой и произнес:

– Вот этих слов я и дожидался от русского государя. Передай Василию Ивановичу, что скоро свидимся в Москве. А теперь поеду обидчиков карать.

Князь на расправу оказался крут: уже на следующий день он переправился через Неман, заявился в Гродно и ночью, словно привидение, предстал в спальне пана Заберезского.

– Слышал я о том, что тебя кошмары мучают, Ян. Вот решил подлечить тебя немного. – Князь медленно вытащил меч из ножен. – Самое время, чтобы крепко уснуть. А ты кто такая? – прикрикнул он на девку, лежащую рядом с Яном.

Женщина натянула толстое одеяло на самый нос и с вытаращенными глазами ошарашенно наблюдала за князем.

– Дворовая я, – едва выдавила она.

Князь подцепил мечом край одеяла и скинул его на пол.

– Ишь ты, а хороша. А теперь – пошла прочь!

– Дай мне умереть в парадной одежде, – пожелал Ян Заберезский.

– Разрешаю, – смилостивился Михаил.

Забережский надел красный бархатный кафтан, повесил на шею княжеские бармы, потом укрыл волосья венцом.

– Я готов, – спокойно произнес он.

Глинский размахнулся и сильным ударом снес голову пана с плеч.

Победно пройдя через всю Литву, Михаил Львович вступил в Великий Новгород.

Василий Иванович встретил князя Глинского достойно: одарил своим платьем, конями, на приезд пожаловал городами Малым Ярославцем и Медынью, а на пиру в его честь встал из-за стола и поднял чашу с вином.

– Пригоже нам такой слуга – и делами виден, и статью не обижен. Земли я тебе дал немалые, не каждый князь такими владеет. А сейчас вот чего хочу сказать. О своей ливонской вотчине не беспокойся, дам я тебе полки для обережения этих земель от Сигизмунда. Воевода ты славный, все по-твоему должно получиться. А ежели надумаешь больше у короля отвоевать, то возражать не стану, все эти земли твоими будут.

– Вот за это спасибо, государь, – растрогался Михаил Львович.

Он уже видел себя могущественнейшим князем на Руси, где вотчина самих Шуйских будет составлять едва ли половину его земель.

Принесли жареного поросенка.

В знак особой милости Василий Иванович повелел стольникам отрезать рьлю у порося и на золоченом подносе передать новому слуге.

Михаил Глинский выехал в Ливонию тотчас, едва получил посешные полки.¹¹ Плохо обученные, едва оторванные от сохи, они, казалось, совсем не были способны для ратного дела. Многие из них не владели даже луком и в глаза не видели пищалей, но уже через три месяца они ненамного отличались от прочих ратников и воевали за ливонские земли так же крепко, как если бы бились за родной дом.

Михаил Глинский посматривал уже на Киев; он сумел даже заручиться поддержкой Менгли-Гирея, однако точно такую же помощь крымский хан обещал Сигизмунду и, не стесняясь, пополнял свою казну как московскими гривнами, так и польскими злотыми.

Михаил Львович Глинский показал себя умелым политиком: ему, известному едва ли не во всех королевских дворах Европы, не составляло большого труда раздобыть опытных пушкарей и ратоборцев, и тремя месяцами позже он сумел взять Смоленск.

Младшие воеводы поздравляли Глинского с победой, и мало кто сомневался, что Смоленск отойдет к личным владениям князя с той же легкостью, с какой Малый Ярославец стал вотчиной Михаила Львовича.

Глинский уже подбирал кафтан, в котором явится на двор к Василию Ивановичу, чтобы из рук государя получить права на Смоленск, когда дверь стольной комнаты распахнулась и на пороге предстал дьяк¹² Боярской Думы.

– Боялся не застать тебя, князь, – тихим голосом произнес статный молодец. – Государь наш грамоту тебе отписал.

– Что в ней? – спросил Михаил Львович, предчувствуя недоброе.

– В ней-то... – Дьяк по-хозяйски расселся на скамье. – Хм... отписано. Смоленск русским градом был, русским градом и впредь пуцай останется. У Михайло Глинского земель и без Смоленской волости предостаточно. Кто знает – отдашь ему Смоленск, а потом силой назад забирать придется.

Михаил Львович поморщился, но обиду сумел проглотить молча.

¹¹ Посешные полки – войско, рекрутированное из крестьян.

¹² Думный дьяк – 4-й (низший) чин Боярской Думы.

Дьяк черпнул ковшиком прохладный квасок из огромной бадьи и важно продолжал:

– Государь повелел тебе быть немедля в Москве. В санях шуба новая лежит, государь пожаловал тебе за старание. Тебе она, князь, кстати будет – твоя-то хоть и дорогая, но молью на локтях побита.

– Передай, дьяк, государю Василию Ивановичу, что я рад буду принять любой его подарок.

Вечером, когда гонец уехал в Москву, Михаил Львович долго разглядывал государев гостинец – красивую соболиную шубу. Вдосталь полюбовавшись тонкой скорняжной работой, он бросил подарок в полыхающую топку.

– Захар! – позвал князь своего верного слугу.

– Я здесь, господин, – мгновенно явился холоп на строгий голос Глинского.

– Ты можешь сказать, что я был несправедлив к тебе?

– Нет, господин, – кротко улыбнулся отрок.¹³ – Ты осыпал меня милостями, о которых я и мечтать не смел.

– Можешь ли ты меня укорить в том, что я не доверял тебе?

Захар помнил ночные прогулки с князем по Риму и Мадриду – грязные таверны с крикливыми, но доступными хозяйками и великосветские гостиные с изысканными, но не менее податливыми матронами. Многие тайны намертво связали князя и его холопа.

– Ты всегда доверял мне, господин.

– Сейчас я хочу доверить тебе не только тайну, но и свою жизнь. – Михаил Глинский протянул Захару письмо. – В этой грамоте я прошу милости и обещаю быть королю верным вассалом, если он отпустит мне тяжкие прегрешения. Если Сигизмунд даст тебе охранную грамоту, я возвращаюсь в Вильно. Ты все понял?

– Да.

– Если ты попадешься с письмом к москвитам, то меня казнят.

– Понимаю, господин. – Уста Захара обратились в камень.

– А теперь ступай.

Сигизмунд долго не мог поверить в такую удачу. Он готов был не только простить бывшего вассала, но и прибавить к его прежним землям огромную волость, чтобы досадить русскому государю и заполучить назад лучшего воеводу. Не мешкая, он отписал охранную грамоту, которую скрепил личной подписью и королевской печатью.

– Я могу выделить в твое сопровождение большой отряд. – Польский король боялся упустить удачу.

– Мне очень лестно слышать о таком предложении. – Захар поцеловал сухошавую руку Сигизмунда. – Но я вынужден отказаться. Одному легче пробраться через заставы русских полков – я притворюсь перебежчиком, и они меня не тронут.

– Я буду молиться за тебя... и за князя Глинского, – серьезно пообещал король и, махнув рукой, выпроводил холопа за порог.

Захара, приняв за лазутчика, изловили на самой границе. Долго топтали ногами и, помяв изрядно, приволокли к воеводе Ивану Овчине.

– Грамоту нашли при воре, – уверенно оправдывали побои ратники. – Ежели по ней судить, так Михаил Глинский назад в Польшу собрался.

– Так ли это? – выдавил из себя Овчина-Оболенский, дивясь таким вестям.

– Не знаю, – едва пошевелил распухшими губами Захар.

– Грамоту везешь, а что в ней – не ведаешь? Упрямышься, смерд!.. Бить его, пока все в подробностях не расскажет, – распорядился князь.

¹³ Отрок – молодой слуга, дружинник.

Захара лупцевали кнутами, распинали на дыбе, обували в раскаленные башмаки, но в ответ слышалось единственное: «Не знаю!» А потом, подустав от упрямства лиходея, Захару на шею навесили чугунное ядро и вместе с другими горемычными отправили в Соловецкий монастырь на вечное заточение.

Михаила повязали на следующий день. Сутки продержали в конюшне на прелой, слежавшейся соломе, а когда в Смоленск прибыл сам Василий Иванович, чтобы глянуть на былую вотчину русских князей, Глинского воткнули лицом прямо в острые носки государевых сапог.

Михаил Львович почувствовал острый запах кожи, потом оторвал лицо от грязи и произнес:

– Будь здоровым, государь Василий Иванович.

– Не могу тебе пожелать того же, – грозно глянул великий князь на поверженного холопа. – Получишь ты за свое вероломство по заслугам.

Поднялся Михаил Львович и, стряхнув рукавом прилипшую ко лбу труху, отвечал:

– О вероломстве заговорил, Ирод, только не признаю твоего обвинения. Если бы ты исполнил свои обещания, то не нашел бы более преданного слуги, чем я.

– Ты умрешь, – безучастно объявил государь.

Михаила Глинского свезли на берег Днепра. Здесь, пряча лики от сильного ветра, стояли горожане. Прошел слух, что должен прибыть государь, день назад приехавший в Вязьму, но вместо него караульщики привезли опального князя.

Овчина-Оболенский, приподняв гремучие цепи, закричал в толпу:

– Знаете ли вы о том, как государь любил своего слугу? Как землями его жаловал многими? А только как же он, негодный, отблагодарил своего господина? – Примолк народ. В воздухе повеяло холодом. – Аспидом коварным забрался за пазуху и ядом предательства отравил его сердце. Вот он, изменник, что отринул великую государеву милость на лживые уговоры латинянина Сигизмунда. А за твое отступничество жалуется наш великий князь вот этим подарком! – Воевода бросил в ноги Глинскому тяжелые цепи. – Эй, караульщики, приоденьте Михаила Львовича в железа, пуццай согреется, а то с реки ветерок задул.

Руки Глинского стянули железом, ноги обули в чугунные башмаки и, усадив на повозку, тюремным сидельцем повезли в крепость.

Полгода Михаил Львович провел в яме.

Глядя на его неприбранный кафтан, на спутанные от грязи волосы, трудно было поверить, что несколько лет назад он разбил тьму татарскую, мог в величии тягаться с самим Сигизмундом, еще вчера считался самым удачливым русским воеводой, а немцы, признавая заслуги князя, называли его не иначе, как Пан Михаил.

Теперь Глинский, подгоняемый стражей, ходил по улицам Смоленска, который должен был стать частью его вотчины, собирая в медный стакан монеты на свое содержание. А когда хозяйки вместо ломтя хлеба давали сдобный пирог, он искренне радовался этому дару.

Освобождение явилось со стороны императора Священной Римской империи Максимилиана. Прослышав о заточении всеевропейского любимца, он трижды присылал гонцов к Василию Ивановичу с большими дарами: Максимилиан просил отправить Михаила Львовича к императорскому двору, раз князь не сумел прижиться на русской земле. А когда монарх пообещал союз против Польши, Василий повелел снять с Глинского оковы и вернуть прежние вотчины.

ЗАЗНОБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

Из России Михаил уезжать не стал. Облюбовав под Москвой Лысую гору, он решил остаться там навсегда.

В доме у Михаила проживала племянница Елена, девица редкой красоты. От московских баб, выросших на белых сдобных хлебах, Елена отличалась утонченностью, сравнимой разве что с хрупким побегом, а также кожей преснежной белизны, которая вполне могла бы сойти за изъян, если бы не румяна, что багряным наливом пробивались на округлых скулах.

Княжна, выросшая в Ливонии, по-прежнему не желала снимать с себя иноземного платья, и просторные сорочки боярышень ей казались такими же безвкусными, как мешок, надетый на крестовину чучела.

Ливония, почти лишенная азиатских предрассудков, сделала Елену свободной. Она не умела опускать глаз при разговоре с мужчинами, заразительно смеялась над каждой удачной шуткой. Елена Васильевна отличалась от русских баб не только внешностью – ее меткие замечания и остроты могли оживить и любой постный разговор, и самое вялое застолье.

Елена частенько вспоминала батюшкин двор, где сытные трапезы чередовались с неприужденными беседами, а невинный флирт был так же необходим, как сладкое вино во время трапезы. Там никогда не переводились бродячие артисты, а музыка звучала чаще, чем под высокими сводами Домского собора. Поэты читали стихи, галантные кавалеры объяснялись в любви, а дамы умели терять сознание только от одного прикосновения пальца любимого. Князь Василий писал пьесы и, создав в замок всю городскую знать, ставил их в домашнем театре, а также сам был непременным участником действия.

От батюшки Елена унаследовала тонкую поэтическую натуру, а от матушки ей перепал изящный профиль с маленьким носиком и янтарный цвет волос.

Десять лет назад, не оправившись от королевской опалы, помер батюшка Елены – князь Василий Глинский. Хозяйство его скоро пришло в захудалость, а немногие слуги, что были при дворе, разбежались.

Михаил Глинский в своем доме пригрел не только племянницу, но и жену брата, которая часто по вечерам тайком наведывалась в княжеские покои, и супружница, смирившись с привязанностью Михаила, терпеливо стала делить мужа со свойственницей.

К Елене Михаил относился как к родной дочери. Ничем не выделял ее среди собственных отпрысков, а когда племянница стала помалу входить в пору девичества, Глинский стал пристальнее всматриваться в соседей, надеясь навсегда породниться с горделивыми и древними московскими родами. Возможно, уже через год Михаил Львович сговорился бы с родителями приглянувшегося молодца, а через два – нянчил бы на коленях чадо любимой племянницы, если б однажды порог княжеского дома не перешагнул сам государь.

– Будьте здраве! – обратился Василий Иванович к двум женщинам, вышедшим навстречу. Великий князь попытался сообразить, какая из них будет хозяйшкой, и, приглядевшись, отметил, что обе они недурны и, видно, воевода понимал толк не только в пищалях.

– Здравствуй, батюшка-государь! – Женщины не поленились ударить тридцать поклонов кряду.

Следом за бабами на крыльцо ступил Михаил Глинский.

– Государь, что же ты скороходов-то не послал, мы бы тебя сумели встретить.

– Распрямись, боярин, не за угощением я к тебе пришел. Слышал я о том, что ты охотник славный, а я и сам до этой затеи весьма охоч.

– Слушаю тебя, Василий Иванович.

– Я бы хотел тебя охотничим поставить. Ну как, уважишь государя?

– Батюшка Василий Иванович, за честь великую сочту!

– Вот и сговорились, а то, я слышал, ты шерстью порос, подобно лешему. Дружбу с нечистыми завел. Али неправду в народе говорят?

– Кроме домовых, в горнице никого не держу, государь.

– Ежели так, отведаю я твоего угощения. – И Василий, распрямив спину, стал подниматься на крыльцо. – А это что еще за девица? Почему я раньше ее не видывал? – пробурчал великий князь, заметив Елену, которая, набравшись смелости, глядела на государя во все глаза.

– Неужно позабыл, Василий Иванович? Племянница моя, княжна Елена. Два года назад я ко двору ее представлял, хотел, чтобы великой княгине служила. Да ты сказал, что для сенных девок она знатна, а для боярышень еще не созрела.

Василий припомнил этот разговор. В тот день ко двору были представлены три девицы: две из рода Кошкиных-Кобылиных, третья – Глинская. Елена показала государю тощей и неуклюжей, напоминающей колодезного журавля. Таких боярышень государыня Соломония не приваживала и при случае выставляла со двора. Зато Кобылины и впрямь напоминали молодых холеных лошадок, впервые выведенных на смотр.

И кто бы мог предположить, что сия куколка способна переродиться в столь яркую бабочку!

Василий Иванович не мог оторвать от девицы глаз.

– Хороша твоя племянница, – признался государь. – Так и зрел бы ее целый день. Расцвела!

– Красавицей девка уродилась. – Губы Михаила довольно расплзлись в улыбке. – Мы, Глинские, все широкой кости. А она хрупка, но притом телесами сдобными не обижена. Все в ней ладно, – оглядел он племянницу с головы до ног. – А ну, девица, поднеси Василию Ивановичу кваску, пускай сполна отведаст.

В цветастом длинном рушнике Елена подала государю высокий кубок с пенящейся медовухой.

Пригубил хмельной напиток государь и поставил кубок на поднос.

– С твоих рук медовуха крепче становится, – похвалил боярышню Василий Иванович.

Пробыл государь у Глинского недолго. Поведал о том, что на последней охоте побил около трехсот зайцев, что самыми удачливыми оказались собаки Овчины-Оболенского, и, поинтересовавшись, держит ли князь обиду за прежние лишения, покинул двор.

Прошел месяц, о государевом визите перестали говорить даже соседи, и сам Глинский старался поживать незаметно, прозябал вдали от московских дел. С великим князем Михаил потом виделся дважды, и оба раза тот ничем не напоминал о своем приезде и даже кивком головы не выделял среди прочих бояр. Тем неожиданнее был приезд государевых вестовых.

Молодцы заколотили в ворота дровками кнутовищ и строго объявили:

– Открывай, князь, прибыли гонцы от великого государя Василия Ивановича.

– Господи, принесла их нелегкая, – забеспокоился Михаил Глинский, вспомнив про недавнюю опалу. – Еще следы от цепей на руках не прошли, а государь никак опять тяжелой милостью наградить пожелал. Эй, холопы, попрдержите псов, встречайте государевых посыльных.

Гонцы въехали на самую середину двора и торжественно провозгласили:

– Честь тебе великая настала, Михаил Львович, государь наш Василий Иванович ожениться на твоей племяннице надумал. Жди следующего воскресенья сватов. Шибко приглянулась ему твоя племянница.

– Чего не ожидал, так это сватовства! – возликовал князь. – А я уже думал, что государь наш милостивый на новое сидение в темнице меня приговорил. Эх, жаль, Васька, братец мой, не дотянул до свадьбы Елены. Вот что, молодцы, – сурово проговорил Михаил, – пока не

отведаете моего хлеба с солью, со двора не отпущу. Али, может быть, с тестем государевым препираться надумали? Эй, рынды,¹⁴ тащите великих гостей с коней да волоките в дом.

¹⁴ Рында – телохранитель.

НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА

Василий Иванович решил обвенчаться в месяц серпень,¹⁵ когда особенно привлекательны зори, способные густым, в половину неба, багрянцем растопить свежесть холодного утра.

А еще хорошо, когда на Ильин день сверкнет молния, а гром будет такой силы, что шуганет не только зайца, спрятавшегося под мохнатый куст, но заставит поежиться даже великана-лешего.

В Ильин день земля напьется водицы, а лужи в лесах превратятся в непролазные болота, вода зальет дороги и пополнит усохшие в знойную пору реки и озера.

После Ильина дня даже медведь выбирает дорогу, а не идет напролом. Старается ступать осторожно, чтобы не промочить лап, боязливо обходит болота.

Василий Иванович любил серпень, но не за грозовой разгул, а за холеного зверя, который на переломе лета всегда ленив и сыт. Робкие тетерева – и те становятся настолько доверчивыми, что их можно снимать с веток прямо руками и складывать в огромные кузова, а прочая птица делается и вовсе глухой и едва ли не всем выводком норовит угодить в расставленные силки. Даже олени становятся не такими быстрыми и, забыв обычную осторожность, как никогда близко подходят к жилью. Да еще и глупый молодняк, который пока не ведает об опасности, подпускает охотника на расстояние в половину полета стрелы.

Бывало время, когда Василий Иванович выезжал охотиться с небольшой свитой. Сейчас этот выезд больше напоминал подготовку к великому сражению, когда лес заполняло до тысячи всадников. Стучали барабаны, играли трубы, перекликались между собой рожки.

Василий Иванович выбирал места поукромнее, и сердце замирало от радости, когда раздавались шаги вспугнутого зверя. Великий князь слышал, как через чащобу пробирается медведь, сокрушая на своем пути молодые побеги деревьев, подминая под себя раздавленные вширь кусты. Чуткое охотничье ухо издали отличало поступь великана-лося – он рогами-дубинами прокладывает себе путь через заросли. А потом как ухнет кто-то в глубине чащи, и следом раздается победоносный клич рожка – это провалился в яму матерый секач.

Государь не растерял крепости в руках, даже подойдя к пятидесятилетнему рубежу, и, балуясь палицей, запросто рвал в поединках кованые панцири, а взять верх над зверьем для него и вовсе забава.

Из-за укрытия он наблюдал за охотничьими тропами и, вставив в тетиву долгую стрелу, дожидаясь зверя, достойного наконечника с государевым клеймом. А когда такой зверь появлялся, он оттягивал плетеное сухожилие далеко за плечо, высматривал у животного под самым горлом ямку и, тщательно прицелившись, разжимал пальцы. Пропев веселую и короткую песнь, стрела непременно отыскивала предназначенную для нее цель.

Василий Иванович наметил свадебное торжество на первый Спас – в самый канун проводов лета. В это время пасечник совершает благочестивую молитву, окуривает ульи и, спрятав на груди спасительную иконку, отнимает у пчел последний медовый взяток.

В соборах денно и ночью звучал молебен, в обедню усиленно звонили колокола, и можно было не сомневаться, что нечистый дух и прочие кромешники попрятались в поганых местах, чтобы не быть побитыми святой водой и очистительными молитвами.

К первому Спасу белошвей выткали цветастые покрывала для Спальной комнаты, мастерицы вышили несколько сот платков для раздачи именитым гостям, а казначеи повыгребли с Монетного двора серебряную и медную мелочь для раздачи милостыни. В тот же день отроки

¹⁵ Серпень – август.

выкатили на Красную площадь три бочки с пивом и поставили у торговых рядов дюжину кадок с брагой.

Прослышав о великокняжеском веселье, в город со всех окрестностей стали сходить на дармовщину бродяги и нищие, но караульщики, памятуя о строгом государственном наказе, гнали нахалов в шею.

Торжество обещало быть великим. Василий, невзирая на недовольство митрополита Даниила, нагнал в Москву гусельников, скоморохов и прочих потешников, которые от утренней до вечерней зари развлекали москвитов срамными песнями и похабными танцами. Старики вспоминали первую женитьбу государя, когда на улицах Москвы были выставлены длинные столы с богатой снедью, а одной только медовухи выпили до десяти стоведерных бочек. И оставалось пожелать, что великий князь окажется щедрым и на сей раз.

В первую свадьбу государя ко двору были представлены самые красивые девицы Руси, среди которых выбрали достойнейшую, а всем остальным государь предложил обручиться с дружинниками и вельможами, и уже через месяц Москва праздновала полторы тысячи свадеб.

Сейчас приготовления к торжеству выглядели поскромнее, хотя для иностранных купцов, не привыкших к такому размаху, даже двенадцать котлов, доверху наполненных мясом и выставленных на самых оживленных улицах града, казались бессмысленным расточительством. Всякий москвит имел право отведать вдоволь парной свинины, запить ее пивом, а потом обругать Василия Ивановича бранным словом и свалиться неумытым ликом под пожухлый куст.

Все эти дни Живодерный двор работал с особым рвением. Подьячие едва успевали составлять списки по принятой скотине, и она тотчас уходила на бойню. Коровы, овцы уже не умещались во дворе и топтались на близлежащем лугу. Казалось, Василий Иванович к своей свадьбе дал указ перерезать весь скот в государстве. Ор от перепуганной животины стоял такой истошный, что заглушал колокола Архангельского собора.

Упреждая возможные бесчинства перепившегося люда, конный отряд стрельцов, размахивая плетью, разъезжал по Москве, и молодцы лупцевали всякого зазорного детину и насмешника.

Всю неделю скоморохи водили по улицам города прирученных медведей, которые умели хлопать в ладоши, кувыркаться через голову и стучать лапами в барабан. Одного из зверей звали Ведуном. Его хозяин, плешивый и худой, словно трость, детина, утверждал, что под мохнатыми лапами медведя прячется судьба каждого москвиты, взяв с его следа горсть земли, можно предсказать будущее. Именно Ведун напроорочил государю Василию Ивановичу, что сына ему не дождаться, а бывшая жена Соломония и теперешняя старица через четыре месяца принесет мальчика. Вот этот младенец и будет настоящий наследник.

Казнили того молодца торговой казнью: вывели на площадь, повязали руки, а потом обломали об его икры груды прутьев.

С тех пор более никто не пытался предсказывать судьбу государя.

Месяц серпень – время, когда выпекают первые колоба из новины, и от государевых пекарен шел дух свежей выпечки. К свадьбе пекари захотели подивить Василия Ивановича и замесили тесто на сто двадцать душ. Решили одним караваем выставить его на стол, а потому, увеличивая проем, еще с вечера подворачивали двери, чтобы по первому гласу боярина вынести сдобу на великокняжеский стол.

Начался день государева венчания.

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЕВСТВА

Митрополиту Даниилу было тридцать лет от роду, когда он сменил на московской митрополии блаженнейшего Варфоломея, старца благочестивого и праведного. Поругавшись крепко с государем, бывший владыка передал ему посох и отрекся от должности. За неслыханную дерзость Василий немедленно наложил на Варфоломея опалу – повелел набросить на его руки цепи и отправить в заточение на Белоозеро.

Даниил был крупного сложения, тучен, краснорож. Перед всякой службой митрополит серным дымом окуривал свое лицо, стараясь придать ему надлежащую бледность. Только после этой невкусной процедуры осмеливался появляться перед паствой.

Князья знали, что Даниил был близок к государю и заслужил его милость борьбой с нестяжателями, хотя у многих бояр заволжские старцы вызвали великую симпатию за свою неприимиримость. Даже приговоренные к сожжению, нестяжатели пытались вразумить своих мучителей, что те следуют пакостной дорогой безбожия и плотских утех, а правда в этом лживом мире лежит только через аскетизм.

Весь вид митрополита Даниила кричал о том, что он придерживается другой морали, по которой толстая мошна чернецам¹⁶ так же необходима, как медведю запас сала на долгую зиму.

В ночь перед государевой свадьбой Даниил обкурил лицо настолько, что едва не терял сознание, и послушники дважды выводили митрополита на крыльцо.

Успенский собор, где должно состояться бракосочетание государево, был великолепен – со всей Москвы в храм свезли святые иконы и спасительные кресты, дороги выложили коврами, а церковники целую ночь опрыскивали стены святой водой, опасаясь, что через щели и окна может пробраться нечистый дух. И чтобы растряссти злые силы, раньше обычного ударили в колокола.

С Постельного крыльца бояре вынесли весть, что государь распорядился повесить в своей спальне огромный, в два аршина,¹⁷ Поклонный крест, и москвиты теперь не сомневались, что его присутствие бичом божьим пройдет по всякой поганой силе.

Кем-то был пущен слух, что государева невеста будет раздавать милостыню у дома Михаила Глинского, а потому, преодолевая страх, москвиты переступили границы Чернобожьего леса, вытоптав за оградой жилища весь дикий чеснок. Боярин тут же повелел выпустить сторожевых псов.

Ровно в полдень с Кремлевского бугра ухнула пушка, известив о приближающейся обедне. А следом широко распахнулись ворота, и из боярского дома выехала каптана. Только разок за пестрой занавеской промелькнуло хорошенькое личико и тотчас спряталось в глубине кареты. И попробуй дознайся, кто это – боярышня или, может быть, сама будущая государыня.

Подождав малость традиционного пожертвования, москвиты обругали скупого боярина и поспешили к Успенскому собору.

Конные стрельцы перекрыли улицы, дожидаясь, когда молодые подъедут к храму. При появлении государевой повозки, запряженной тройкой гнедых кобыл, они тотчас зычными голосами заорали в толпу и плетью придали резвости особенно нерасторопным.

Государь, поддерживаемый боярами, сошел с повозки и ступил на соболиные шкуры. Мамки подали руки Елене, и она вышла из каптаны, и тогда Василий Иванович с невестой

¹⁶ Чернец – монах.

¹⁷ Аршин – 0,71 метра.

шагнул на высокие ступени храма. В притворе, зажав пудовые свечи в руках, торжественно замерли послушники.

Государь шел неторопливо: мимо молчаливых подьячих и дьяков, мимо бояр, прямо к алтарю.

Собор наполнялся гостями, и следом за верхними боярами в храм вошли окольниковы,¹⁸ стольники,¹⁹ дворяне, жильцы.²⁰

Митрополит Даниил без конца поворачивался через плечо и наказывал певчим голосить с душой, а потом, обхватив пальцами распятие, заговорил под самые своды:

– Венчается раб божий...

Из собора девица Елена Глинская вышла государыней.

Василий, глянув на примолкший в ожидании люд, сказал рындам:

– Мешок с монетами принести, сам хочу народ наградить.

– Самое главное, государь, позабыл, – вышел вперед Михаил Глинский, нарушив ровный строй бояр. – Жена мужа своего слушаться должна, как верная собака хозяина. Ты уж меня, Елена Васильевна, извини, я тебе вместо отца остался, а потому на разумное дело наставить должен. – И, повернувшись к государю, продолжал: – Вот тебе, Василий Иванович, плеть. Ежели дочь моя ослушается, так лупи ее так же немилосердно, как добрый хозяин лупит нерадивую козу, забравшуюся в огород. И пускай эта плеть всегда висит на самом видном месте и напоминает жене о благочестии.

Московиты застыли. Бывало, что супружеская жизнь начиналась с нескольких ударов по покорной спине жены. Случалось, муженек ломал плеть о собственное колено. Как же сейчас поступит московский государь?

– Думаю, она мне не понадобится, – отвечал Василий и, не решившись оттолкнуть протянутую руку, взял плеть как бы нехотя, а потом почти изящным движением сунул ее за голенище.

А Елена неожиданно согнулась и, в знак смирения, коснулась лбом сапога государя.

– С тобой я, Василий Иванович, на веки вечные.

– Вижу, что покорная мне женушка досталась, – во всеуслышание объявил государь и полой платья, как того требует обычай, спрятал голову жены от любопытствующих взглядов. – А теперь несите мешок с монетами, милостыню раздавать буду!

Всю ночь в Москве бурлило веселье. А когда наступило утро и из великокняжеского двора в сопровождении конных стрельцов выехал Михаил Глинский, всему городу стало ясно, что честь государевой супружницы не пострадала.

Михаил Львович держал в руках икону, через которую свешивалась кровавая простыня, а дьяки объявляли во всеуслышание:

– Сегодня ночью разрешилась от девства государыня наша Елена Васильевна... Гуляй, честной народ, веселись. Василий Иванович повелел выставить на торговых рядах еще пять бочек пива и три бочки медовухи!

Московиты радостно восклицали, прославляя щедрость великого князя, а заодно и непокорность русской государыни.

¹⁸ Окольниковый – второй по значению чин Боярской Думы.

¹⁹ Стольник – придворный, прислуживающий за трапезой государя.

²⁰ Жилец – дворянин, временно живущий при государе, обычно на военной службе.

ТАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Овчина-Телепнев Иван Федорович был из знатного рода князей Оболенских. Уже при Василии Темном они потеснили старейшее московское боярство и заняли место на лавке по правую сторону от великого князя.

Лишившись прежних вотчин, Оболенские с усердием взялись за московскую службу и, не стесняясь, выпрашивали в кормление целые волости. Многие из них стали наместниками в северных городах и по указу московских государей расправлялись с вольницей так же усердно, как когда-то ратовали за удельное правление.

Особенно полюбилась князьям псковская земля, и многие отпрыски славного рода чувствовали себя в дальнем граде не хуже, чем когда-то в отцовских вотчинах.

Среди Оболенских народилось немало храбрых воевод, которые в походах возглавляли головные полки. Именно таков был Иван Овчина-Телепнев, сумевший прославить себя в битвах с магометянами. Однажды по велению московского государя он встретил за Окой лукавых казанцев и гнал их до московской украины.²¹ За этот подвиг Василий пожаловал молодого воеводу бобровой шапкой, а немного позже тот стал окольным.

Два года Иван Федорович Оболенский был наместником в Нижнем Новгороде, где старанием к государевой службе укрепил обветшавшие стены города и дважды выходил навстречу татаровой тьме к берегу Волги.

Иван Овчина оказался из тех воевод, что не упускают случая досадить супостату, – он не раз во главе большого отряда воинов вторгнулся в пересохшую степь Орды. Овчина-Оболенский прослыл как знатный рубака. Вооружившись двумя мечами, он рассекал ворогов с правой и левой руки, проникая в самую гущу сечи.

Своими ратными подвигами князь сумел заслужить даже уважение казанцев, которые стали называть его не иначе как Иван-Казак. А казанский хан Сафа-Гирей не однажды зывал воеводу на службу, суля ему, после обрезания, великое жалованье и город в кормление.

Наконец Василий Иванович призвал Овчину к себе и сделал ближним боярином.

Иван Федорович выделялся от прочих вельмож не только ратными подвигами и вызывающей молодостью. Он был строен, высок, голубоглаз и ежедневно, как древний викинг, упражнялся с челядью на мечах. Князь, в отличие от остальных вельмож, не опускал ремень на бедра, чтобы подчеркнуть присущую боярскому чину дородность. Чаще он носил латы, чем кафтан, как будто даже на дворе московского государя ожидал злодейства.

Василий Иванович не только приблизил боярина, но и посвящал его в свои тайны. Иван Федорович знал, что, отправив Соломонию в монастырь, государь частенько наведывался к молодой женошке князя Вельского. Знал боярин и о том, что, по велению государя, месяц назад на песчаной косе Москвы-реки монахом-схимником,²² был утоплен посланник константинопольского патриарха. Тот посмел усомниться в содержании Апостольских книг и упрекнул великого князя, что религия на Руси не похожа ни на римский закон²³ ни на православие Греции, а представляет из себя свод варварских обычаев.

Едва отзвенели свадебные колокола, как Василий Иванович пожелал видеть верного боярина.

Перешагнув Иван Федорович порог Гостиной комнаты и, опасаясь стукнуться лбом о низкий косяк, так нагнул голову, что этот поклон можно было принять за большое челобитие.

²¹ Украина – окраинная область государства.

²² Схимник – монах, соблюдающий особо строгие правила поведения.

²³ Римский закон – здесь: католичество.

– Здравым будь, великий государь, – произнес Иван и кончиками пальцев коснулся жесткого ворса ковра.

Василий сидел в середине комнаты, возвышаясь на огромном стуле, в самом центре ковра, на котором был выткан снежный барс. Ноги государя покоились на спине хищника, а сам великий князь напоминал всадника, сумевшего укротить опасного зверя.

– И ты будь здоровым, боярин. – И голос, и облик Василия Ивановича выдавали его великую заботу. – На базарах сказывают, что Соломония в монастыре понесла и будто бы этот младенец... мой сын! Бывшая женошкa – баба с характером. Дважды я отправлял в монастырь посыльных, и оба раза Соломония отвечала, что дите не покажет, и наказывала старицам гнать государевых скороходов взащей, как нехристей из храма. Преломал бы я гордыню да сам в монастырь поехал, только Соломония мне тоже на порог укажет. А если смилостивиться изволит, то уж младенца ни за что не даст узреть, коли он и вправду имеется. Вот что я накажу тебе, Иван Федорович, – разузнай все как есть. Ежели кому потребуется заплатить, то не скупись! Езжать в монастырь ты должен тайно. Потом доложишь мне все в подробностях.

– А что делать, государь, если таковой младенец и вправду в монастыре оказаться может?

Вспомнил Иван Федорович происшествие в уютной келье Соломонии и подумал о том, что народившееся дите может оказаться его чадом.

– Что делать с младенцем, спрашиваешь? – на мгновение призадумался государь. – Сделай так, чтобы его не было. Ты понял меня, холоп?

– Понял, Василий Иванович, – как можно спокойнее отвечал Овчина-Оболенский.

– А теперь ступай, Иван Федорович, – махнул дланью государь, и свет фонарей упал на изумруды его перстней, отблески от которых на мгновение ослепили верного слугу.

Нагнулся боярин и попятился задом к дверям.

ОТЕЦ, МАТЬ И СЫН

Иван Федорович Овчина пришел в монастырь тайно. Поменял свой золоченый кафтан на простую рубаху и порты и перехожим бродягой постучался в ворота.

– Сестра божья, смилостивись надо мной, не оставь без пристанища. Тати да душегубцы в ночи шастают, того и гляди живота лишат, – жалился странник.

– Ой, господи, – раздался робкий голос за высокими стенами, – игумен у нас дюже строгий. Да уж ладно, проходи, не оставлять же христианскую душу на погибель.

Скрипнули ворота, и Оболенский углядел потупленные очи хорошенькой монахини.

– Спасибо, сестра. Пожелал бы тебе жениха доброго, так богохульником не хочу прослыть.

– Был у меня жених, – кротко отвечала старица.

И в тишайших глазах молодой вратницы Иван Федорович увидел столько черной кручины, сколько не доводилось зреть даже у вдовьих баб.

– Вот оно что, – только и сумел ответить князь.

– Во двор ты не проходи, для странников мы избу держим подле ворот. Наши старицы с миром не знают, да и строго у нас! А краюху хлеба с молоком я тебе принесу. Ступай за мной, добрый молодец.

Изба была невелика, но в сравнении с кельями выглядела хоромами. Внутри скупое: напротив двери огромный медный крест, жесткая кровать у стены, на скамье оплывший восковой огарок.

– Отдыхай, добрый человек, а с рассветом будь добр покинуть божью обитель, – услышал он суровый наказ старицы.

Едва вратница ушла, Иван Овчина вышел во двор. Постоял малость, вслушиваясь в монастырскую тишину, а потом напрямик зашагал к келье Соломонии.

Дверь, по велению монастырского устава, оставалась незапертой, и через узенькую щель пробивался тускло-желтый свет.

Постоял малость Овчина, а потом, крестясь, отворил дверцу.

Срамно было видеть Соломонию в монашеской келье. Более двадцати лет баба проживала в великолепии, о каком, поди, не помышляли даже фараоны, и злата на ее руках было больше, чем на платьях византийских цариц. Ее охраняли, как сокровищницу турецкого султана, и оберегали, как нетленную длань Иоанна Крестителя, и даже на выездах по монастырям великую княгиню сопровождала дружина до полутора тысяч всадников. Московиты же, встречая ее экипаж, падали ниц и не поднимали голов до тех пор, пока вдали не утихало громохание подвязанных к днищу цепей.

– Господи! Ты ли это? – обернулась Соломония на неосторожный скрип отворяемой двери.

– Я, матушка, – не смел смотреть в лицо государыни князь.

– Чего же ты очи в половицы уставил, или я так дурна стала, что и взглянуть на меня не желаешь?

– Грех говорить, государыня, но монашеское одеяние тебе еще больше к лицу, – преодолел робость Иван Овчина. – Была бы моя воля, Соломонида Юрьевна, так я бы век от тебя зенок не отрывал. Только такой слепец, как наш государь, мог от себя твою красоту великую отринуть.

– Сладенько поешь, князь, видно, девицы с тобой скучать не умеют. А теперь отвечай – зачем пришел?

– В народе говорят, государыня... что сына ты родила. Неужно правда?

– Вот оно что, о грехе моем решил напомнить, негодник!

– Помилуй меня, окаянного, государыня, не желаю тебя ни в чем укорить. Просто желал узнать – Василия ли это сын... или мой? А может, лукавый понапрасну народ тревожит? Чего ж ты молчишь, Соломонида Юрьевна? Может, чада никакого и в помине нет! Может, кликуши с твоего ведома народ мутят, чтобы московскому государю досадить. Ответ же наконец!

Нахмурила государыня чело и напонила красивую птицу Сириин, у которой вместо клобука изящная корона.

– Нет у меня боле зла на государя. Сына хочешь посмотреть? Пойдем со мной.

Соломония взяла со стола огарок и отворила дверь в темноту.

Князь послушно последовал за старицей. Свеча ярко полыхала, и их кривые тени бессловесными призраками скользили вдоль стен. Никогда Иван не думал, что монастырь может быть таким зловещим. В этот полуночный час камни обители напоминали о душах усопших, а Соломония походила на проводницу между живым и мертвым царствием.

Государыня повела князя через двор, мимо монастырского амбара, пропахшего прелым зерном, мимо конюшни с запахом слежавшегося навоза, прямо к невысокой часовенке.

– Вот ты и пришел к сыну в гости, – просто объявила Соломония. – Спит он крепким сном под мраморной плитой, на которой написано: «Здесь покоится невинноубиенное чадо, сын великого князя всея Руси Георгий Васильевич. Одиннадцать месяцев от роду». Взглянуть желаешь?

– Да.

Перекрестилась государыня и вошла под своды часовни.

– Справа его могила, у самой стены, – подсказала Соломония. – Сорок дней будет, как помер ребеночек-то.

В правом углу часовенки, ничем не отличаясь от дюжины других могил, князь увидел белую плиту, подле которой тлела лампадка.

– Ответь мне, государыня, чей это был младенец?

– То был твой сын, боярин.

– Как же так случилось, что он помер? – не пытался скрыть горя Иван Федорович.

– По государеву указу Георгий Васильевич задушен. Явились в монастырь под видом странников трое отроков, опоили кормилку злым зельем, а когда она забылась дурным сном, придушили чадо в колыбели и тотчас отбыли восвояси. А теперь ступай отсюда, Иван Федорович, дай его душе покоя. Неуютно младенцу, когда отец его рядом и безмерно печалится.

Овчина не стал дожидаться утра: потревожил своим внезапным появлением вратницу, сказал, что теснит его тело монастырская духота, и попросился обратно в ночь. Покачала хорошенькой головой старица, отомкнула калитку и, пожелав доброго пути, оставила молодца на пустынной дороге.

Соломония же в келью не вернулась. В пристрое собора неярко горела лучина, и государыня пошла прямо на огонь. Она трижды стукнула в дверь. Раздался обеспокоенный девичий голос:

– Кто же это там?

– Я это, Павлина, отворяй. Ушел государев посыльный. Если еще пожалуют, то уж не сегодня.

– Проходи, матушка, – поклонилась молоденькая старица. – Наш батюшка Георгий только уснул. Все боялась, что гость наш незванный крик младенца может услышать. Да бог миловал.

Пристрой был небольшой: еле вмещал кованый сундук, коротенькую лавку да деревянную колыбель, едва оставалось в углу место для подсвечника из витых свеч.

Соломония заглянула в колыбель, и лик ее осветилось, будто приласкал губы теплый солнечный лучик.

– Как он еще мал! Господи, если бы батюшка знал, какого младенца обидел, – не могла насмотреться на сына Соломония. – Если про чадо будут спрашивать, говорить всем, что дите почило, – в который раз наказывала государыня.

– Не позабуду, матушка, не тревожься. Как он на батюшку похож, на государя Василия, – всплеснула руками старица.

Не ответила Соломония, глянула строго из-под вороха густых ресниц на восторженную монахиню и тотчас усмирила ее радость.

– Чтобы младенца стерегли денно и ночью, глаз не спускали с государева наследника!

– Так и делаем, матушка, так и делаем, бережем, как собственную десницу, – отозвалась кормилица.

– А теперь побудь за дверью, мне сыну заветное слово шепнуть надобно. – Когда старица вышла, Соломония достала из рукава мешочек с травой и положила под голову дитяти. – Царь-травы, обереги моего сына от лиха, дай ему многие лета и великого счастья. Пусть всякое недоброе дело разобьется от видения моего чада. Беда, отступись, а прибудь добро!

Уже год как Соломония стала зелейницей. Этот талант в ней открылся совсем неожиданно, когда надумала она ладонью приласкать изнывающую от жара монахиню. Едва дотронулась прохладными пальцами до лба, а лихоманки как и не бывало. Отшатнулись в тот миг от государыни старицы, пытаясь разобраться в увиденном – божий дар в нее вселился или, может быть, лукавый ведовством одарил? Вот сейчас разомкнет старица уста, а из великокняжеского зева, словно у аспида огненного, брызнет на созерцающих палящее пламя. Но государыня заговорила спокойно, так, будто чудо для нее обыденное дело:

– Вот она и здорова, сестры.

Слух о чудодейственном спасении старицы мгновенно распространился по округе, и к отставной государыне шествовали теперь не только за добрым советом, но и затем, чтобы излечиться от недужности и хвори. Соломония Юрьевна много читала, и древние рукописи, бережно переписанные старательными сестрами, оказались для нее проводниками в доселе неведанный мир заклинаний и трав. Теперь бывшая государыня больше напоминала черно-книжницу, которой подвластны не столько святые дела, сколько тайны потустороннего мира.

Великая княгиня умела заговаривать боль и способна была отвести всякую порчу, а отвратить беду от собственного сына – для нее и вовсе пустяк. Важно только, чтобы заговор этот не услышало чужое ухо, и Соломония жарко нашептывала в безмятежный лик спящего чада:

– Спаси и обереги моего сына от всякого лиха. Сделай так, чтобы не сумела его взять ни одна хворь, чтобы тварь обходила его стороной, а вражья стрела облетала.

Монашка в махонькие лоскуты разорвала папорот²⁴ и разбросала его вокруг колыбели. Образовался тот самый круг, через который не сможет ступить ни одна вражья сила и, стукнувшись лбом о неведомую границу, всякая нечисть упадет на землю грудой сожженного пепла.

Потом Соломония достала одолень-корень. Она собирала эту траву на день таинственного Ивана Купалы, когда пробуждается всякая сатанинская сила. Причем рвала ее в полночь, когда растение распускается белым цветом и горит так же ярко, как свеча у алтаря. Не каждый может увидеть одолень-траву, небывалая ее сила дается только настоящему чародею.

Соломония Юрьевна некоторое время держала корень в руках, наблюдая за тем, как белый свет его освещал комнату, а потом осторожно положила одолень на махонькую головку сына.

²⁴ Папорот – папоротник.

ФИЛИПП КРУТОВ – МЕЛЬНИК И КОЛДУН

Три дня в Москве лил дождь – густой, обильный.

Неглинка вышла из болот, и гнилая ржа залила рвы и полдюжины оврагов, которые должны были вскоре превратиться в небольшие пруды.

Яуза разлилась и затопила поднявшиеся в рост покосы, которые выглядывали на поверхности воды желтыми цветами.

Шалая вода рассыпала деревянные настилы, что плотники крепили через ручьи и протоки, разметала мостки через Москву-реку, и бревна, словно шершавые спины хищников, ныряли в пенящуюся круговерть.

Воды в эти три дня прибыло столько, что ее хватило бы на три дождливых осенних сезона. И трудно было поверить, что всего лишь месяц назад стоял такой страшный зной, что железо гнулось, будто побывало в кузнечной жаровне.

Если кому и стало теперь хорошо, так это водяным, которым в ненастные дни доставалась обильная добыча – все больше квасники²⁵ да бродяги. Не быть им похороненными на погосте под упокойный звон колоколов – снесут покойников подале от города и сбросят в зеленое болото.

Московиты полагали, что водяные любят мельницы и, ежели дела у мельника идут ладно, значит, расплатился он с водяным чертом чьей-то жизнью. А потому отношение к мельникам всегда было настороженное, даже опасливое. Вот присмотрит он дурным взглядом чью-то душу да и продаст ее нечистому.

Мельников опасались особенно в дождь и ежели видели его ступающим навстречу, то, пренебрегая стылой погодой, издалека скидывали шапку и кланялись в ноги.

Известным на всю Москву мельником был Филипп Егорович Крутов. Говаривали, что знается он не только с водяными, но и с бесами всех мастей, а когда чья-либо отчаянная душа спрашивала у него об этом, мужик только хитро хмыкал в рыжеватую бороду.

Всем было ясно, что если дождь будет поливать еще три дня, то затопит он не только поля, но и каменный детинец, а потому бояре решили просить подмоги у Филиппа Крутова, который, по общему мнению, ходит к водяному пить брагу.

Мельник внимательно слушал бояр, которые не постеснялись снять перед холопом шапки, и хмуро рассматривал струйки дождя, сбегаящие с их воротников на пол.

– Ты, Филипп Егорович, поди, со всеми чертями в округе знаешься, – говорил Михаил Глинский, своим высоким ростом едва ли не подпирая крышу мельницы. – Разное про тебя глаголят. Одни говорят, что старшую дочь ты замуж за беса выдал, другие молвят, что твоя жена – родная сестра водяного, а третьи толкуют, будто бы ты сам рожден от блуда с чертями. Где тут правда, а где кривда – не нам судить и не для этого мы государем к тебе посланы, а только любой в округе знает, что ты первый во всей Москве колдун. Вот и просим мы тебя всем миром, большим поклоном перед тобой кланяемся, чтобы унял ты несносный дождь. А иначе он не только посева погубит, но и город затопит.

– Грязи вы мне на мельницу, бояре, натаскали, – сурово отчитал вельмож хозяин. – Весь пол залили. Моя баба после вас полдня скоблить будет. Да уж ладно! Вижу, что с делом заявись нешуточным. Только ведь с чертями просто так не договоришься, они или душу на откуп возьмут, или деньги немалые. Чего же вы, бояре, предложить сумеете?

Вельможи несмышленими дитятами топтались у порога и очень боялись прогневать всемогущего колдуна. Пятаков было жаль, однако строгий государев наказ предстояло исполнить в точности.

²⁵ Квасник – пьяница.

– Всем рады посодействовать, Филипп Егорович, только уйми ты дождь этот, Христа ради, – буркнул Глинский и тут же осекся, понимая, что имя господя сболтнул не к месту. – Ты скажи, чего тебе надобно?

– Для начала утром приведите к моему двору черную свинью, до них батюшка-водяной больно охоч. Скину я ее под мельничное колесо, и дождь в тот же миг и прекратится, а вы мне еще за добро мое денег половину шапки отсыпьте. Чего же вы примолкли, бояре, или, думаете, дорого? Так половину тех денег бесу придется отдать. Он, злодей, за то, что колесо вращает, голову человечесью требует, я взамен этими монетами и откуплюсь.

Вельможи с опаской смотрели на вращающееся водяное колесо и живо представляли себе, как эти лопасти одну за одной перемалывают неповинные боярские головы. Колесо охало, скрипело, и запросто верилось в то, что это рассерженный водяной от злости скрежет зубами.

– Хорошо, – хором ответили бояре и вышли за порог.

Хлюпнуло что-то громко за спиной, и мужи дружно перекрестились. Только тогда осмелились надеть шапки вельможи, когда мельница осталась далеко позади.

Свинью для водяного выбирали всем московским двором. Посыльные и скоморохи по государеву наказу расходились по посадам и деревням и за гривну отбирали боровов с огромными загривками. А когда свезли свиней на Скотный двор, был устроен смотр. Свиньи бегали по загону огромной черной тучей, нагоняя на суеверных старух почти животный страх.

В отборе самого огромного порося участвовали виднейшие бояре. Они шастали между перепуганными кабанчиками и, тыча перстами в приглянувшуюся животину, велели челяди волочить ее из загона на смотр. А потом, когда здоровеньких боровов набралось две с половиной дюжины, верховные бояре стали отбирать первейшего.

Посоветовавшись гуртом, вельможи остановились на породистом поросе в двадцать пудов весом и, скормив ему сонного зелья, снесли на телегу.

Уснувшего порося везли к водяной мельнице с большим торжеством. Впереди шел митрополит Даниил с иконой, немного позади множество архиереев и уже следом дьяки с кадилами, которые святым дымом старательно разгоняли встречающуюся на пути шестивия нечисть.

Когда ход подошел к мельнице, дождь усилился многократно. Филипп Егорович больше напоминал князя, чем мастерового: вышел на крыльцо, махнул дланью на бояр, обнаживших перед его честью шапки, и распорядился великодушно:

– Скидайте порося, я сам переговорю с батюшкой водяным.

Поднатужились холопы и скинули кабанчика на раскисший глинистый берег.

Мельник постоял малость, огляделся вокруг, будто прислушивался к завораживающему ходу струй, а потом обратился к водяному со словами:

– Царь наш речной, хозяйюшко, не сердчай на меня шибко, что тревожу тебя в неуроченный час, да только дело у нас к тебе имеется спешное.

Свинья неподвижно лежала на берегу и напоминала огромный черный валун, принесенный нечестивыми водами с шабаша на Лысой горе.

– Уйми дождь, сделай милость, а я тебе за старание подарочек приготовил. Свинью черную! Такого добротного мяса, как у этой животины, во всей Руси не сыскать. Как отведаешь, так сам поймешь, водяной батюшка, – с чувством уверял хитрый мельник. – А теперь, бояре, подсобите мне малость, давайте животину в воду спихнем.

Вельможи проворно подскочили к все еще непробудной животине и, кряхтя и охая, принялись сталкивать порося в воду. Но совсем напрасными оказались потуги полдюжины крепких мужей – свинья не желала двигаться с места.

– Эх вы, разве так надобно?! – осерчал Михаил Глинский и, навалившись плечом в широкую спину порося, едва ли не один спихнул его в воду.

Свинья неожиданно очухалась, падая с трехаршинной высоты, и ее пронзительный визг заглушил размеренный шум дождя, а потом сноп брызг окатил мельника и стоявших рядом бояр.

– Утопла, – безрадостно объявил Филипп Егорович.

– Утопла, – с облегчением согласился Михаил Глинский.

– А теперь вот что я вам, бояре, скажу. Ежели дань ваша батюшке водяному пришлась по нраву, значит, дождь прекратится к утру, а ежели нет, – развел руками Филипп Крутов, – готовьте тогда черную корову.

С тем и оставил мельник ближних государевых бояр на проливном дожде.

Вельможи разошлись не сразу. Поглаголили сначала о том, что черную корову можно сыскать за Китай-городом у купца-татарина, который торгует скотом. Потом решили, что сейчас самое время испить крепкой наливки, и, ободренные предстоящим ужином, скрылись за стеной дождя.

Ливень прекратился на третий час. Трудно было поверить, что он когда-нибудь иссякнет, но небо громогласно ухнуло и изрыгнуло из себя последнюю горсть воды. Капли упали на склонившийся подорожник и сбежали по стеблю, а солнечные лучи, споткнувшись о водяную пыль, обломались в высоте яркой радугой, соединившей меж собой берега Москвы-реки.

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ ГОСУДАРЯ

Василий Иванович после женитьбы изменился. Бояре говаривали, что юная княгиня околдовала престарелого государя, а иначе к чему тогда, вопреки заветам старины, брить бороду?

Чудил великий князь.

Не было еще на Руси такого самодержца, который по капризу супружницы мылил бы себе лицо и скоблил его до лоснящего блеска. А через заморских купцов бояре знали, что пьет Василий Иванович снадобье, способное очистить кожу от черноты и омолодить ее.

Старики, немало ведающие и в жизни, и в бабах, глаголили о том, что долго престарелому государю не выдюжить – не пройдет и трех лет, как молодая жена вытянет из него немногие соки, и будет божьей милостью государь всея Руси напоминать выжженный злым солнцем сухостой. Но сейчас Василий Иванович был румян и толстоцек, напоминая сдобный пасхальный калач.

Послы обращали внимание на то, что великая княгиня имеет над мужем большую власть. Василий не упускал случая, чтобы не похвастаться перед баронами молодой супружницей. Он вместе с Еленой принимал послов, выезжал на богомолье и даже брал ее с собой на охоту.

Глинская, привыкшая к вольным порядкам у себя на родине, совсем не замечала разницы между Литовским княжеством и Московским государством. В полутемных коридорах дворца могла она остановить разговором боярина или смутить приветствием стоявшую в дверях стражу. Но хотя вельможи часто видели открытое лицо государыни, им трудно было упрекнуть ее смеющиеся глаза в греховности.

Великая княгиня не походила ни на одну из русских баб. Все в ней было немецкое, иноземная порода проявлялась в любом ее поступке. И если прочие бабы содержали при своих дворах уродов и шаляков,²⁶ то государыня Елена выписала из Австрии танцоров, которые каждое воскресенье держали ее за белую ручку и водили по Грановитой палате.

Однако ухаживание чужеземных кавалеров не смущало великого московского князя. Казалось, что это только сильнее разжигает его страсть.

Но время шло, а государыня все не брюхатила. Понемногу стали расползаться слухи, что Елена оказалась порченной, вот от того ее утроба пуста, как котомка у нищего, что иноземные ухажеры растрясли ее брюхо да помяли бока и что московскому государю лучше запереть молодуху в Новодевичьем монастыре и взять бабу ядреную, из московских дворянок, выросшую на житном поле и пивавшую козье молоко.

Василий Иванович повелел мирянам ставить свечи о зачатии государева младенца и наследника и жертвовал для этого из казны полмешка денег, а на воскресенье раздавал у соборов щедрую милостыню. Чернецам же повелел в три смены стоять на службе во спасение московского рода и петь литургию.

Сам Василий не однажды подходил к государыне, мям ладонью ее мягкий бок и, заглядывая в юное лицо, вопрошал бесстыже:

– Не наполнилась ли твоя утроба, государыня Елена?

– Нет, батюшка, – не смела смотреть великая княгиня в глаза мужа и разглядывала носки своих сапог.

– Я здесь у ведунов спрашивал, так они мне открыли, что эта неделя для зачатия младенца в самый раз будет. Нельзя мне без наследника, государыня, иначе сгинет Московское государство в геенне огненной. Ты уж постарайся, Елена Васильевна!

²⁶ Шаляк – дурачок.

– Так стараемся ведь, батюшка, – оправдывалась Елена, – так стараемся, что седьмым потом исходим.

Упрекнуть супружницу в противном Василий Иванович не мог и в замешательстве скреб пальцами гладкий подбородок. Он теперь больше надеялся на божий промысел, чем на собственное умение.

А Елене, казалось, и горя мало: прыгала молодой козочкой по Грановитой палате и так смеялась, что запросто заражала весельем даже стареющих мужей.

И только два человека во всем государстве знали об истинной причине беззаботной радости московской княгини: Елена Васильевна была влюблена и второе воскресенье подряд проводила ночь со своим возлюбленным.

ГОСУДАРЫНЯ И КОНЮШИЙ

Все началось на пиру, который государь устроил по случаю годовщины своей свадьбы с новой супругой. Торжество было в самом разгаре. Успевшие охмелеть братья Василия Ивановича задорно пощипывали за жирные ляжки безобразных шутих, бояре перепились так, что сползли с лавок, а стольники продолжали зорко следить за тем, чтобы кубки были наполнены, а блюда не оставались пустыми. Иного веселья великий князь не признавал и любил гovarивать:

– Что это за пир, коли гости до смерти не упились?!

Хмель не брал только одного Овчину. Он и ранее к питию был стоек, а сейчас тем более – поскольку отведал на первое блюдо жареного гуся. Кубок за кубком боярин вливал в свой безразмерный желудок, но, несмотря на все усилия, менялся только цвет глаз, который из бледно-небесного переродился в глубинно-синий.

Потеряв надежду охмелеть, князь решил поесть до живота и пробовал одно блюдо за другим. Особенно по вкусу Ивану Федоровичу пришелся кабанчик с хрустящей прожаренной корочкой. Князь протыкал ножом его румяные бока и отыскивал наиболее лакомые кусочки. Наконец он облюбовал грудинку и отковырнул сладостную мякоть. Мясо князь Иван Федорович любил соленое, с ядреной горчицей, причем еще такой крепости, чтобы першило в горле. Покрутил головой князь, а солонки не видать. Та, что стояла подле него, залита вином, а до другой не дотянуться. Он уже хотел позвать к себе стольника, когда вдруг услышал голос государыни:

– Подать соли князю Ивану Федоровичу с моего стола.

В Грановитой палате сделалось тихо, как в покойничке. Отрезвели даже те, кто свалился под стол.

Всем было ведомо, что жаловать на пиру мог лишь только сам государь всея Руси. Если он велел подать хлеб, то тем самым выражал милость. Если с государева стола подавалась соль, то не было высшей чести – так великий князь выражал свою любовь.

Жалованье полагалось встречать стоя, поклонившись сперва государю, а потом остальным именитым гостям.

Сейчас жаловала государыня.

Этой чести невозможно было не заметить, так же как и отказаться от нее.

– Что же ты, князь, соль от государыни не принимаешь? – спросил Василий Иванович и перевел взгляд на супружницу. – Или любовью Елены Васильевны брезгуешь?

– Государь Василий Иванович, да как же можно? – поднялся из-за стола князь и почувствовал, что охмелел все же крепко – едва ноги держали. – Спасибо за честь, великий государь.

– А ты не меня благодари, Иван. Ты государыне поклонилась, это она тебе соль подала со своего стола.

– Благодарствую тебя, великая княгиня Елена Васильевна, – поклонился боярин Овчина и успел заметить, что та улыбнулась ему краешками губ.

Следующая встреча государыни с холопом произошла месяц спустя, когда Елена в сопровождении вороха боярышень явилась на Конюшенный двор.

– Ты конюший? – ткнула перстом государыня в оробевшего холопа.

– Я, государыня. – Иван Федорович не смел глянуть на открытое лицо великой княгини.

– Подбери мне коня. Верхом хочу проехать.

Русские бабы смиренны и богобоязненны. Не каждая из них отважится оседлать скакуна, совсем в диковинку наблюдать за государыней, сидящей верхом. Великой княгине полагалось ехать в возке с плотно занавешенными окнами, чтобы даже нечаянный взгляд москвиты не посмел нарушить ее уединения.

– Какого скакуна пожелает государыня?

– Аргамака, – коротко распорядилась Елена Васильевна.

Аргамаками называли турецких коней, которые отличались от русских лошадок не только высокой статью, но и горячим нравом и никогда не упускали возможности скинуть с себя седока. Чаще московиты разъезжали на мерилах, всегда послушных малейшей воле хозяина.

– Как скажешь, Елена Васильевна. Эй, конюх, привести государыне Велеса.

Холопы подвели красавца-жеребца. Государыня оказалась ростом в половину коня. Аргамак не мог устоять на месте, с силой топтал серую грязь, выбрасывая вперед кованные серебром копыта. Жеребец знал, что красив, вот потому он с высоты своего роста горделиво посматривал даже на московскую государыню.

Конюхи с интересом наблюдали за великой княгиней. Не всякий отрок отважится оседлать аргамака. Велес – жеребец привередливый и будет держать ношу, только достойную себя. Даже многие из тех бояр, кто в именитости не особо уступали самому государю, оказывались сброшенными на землю строптивым иноходцем.

– Хорош конь, – сказала великая княгиня и легонько похлопала жеребца по крупу.

И Велес, вопреки всеобщему ожиданию, потянулся к Елене Васильевне всем телом, будто признал в ней равную себе.

Переглянулись дворовые молодцы, а чудо между тем продолжалось. Велес ткнулся губами в шею женщины и теперь больше напоминал пылкого любовника, нежели строптивного жеребца.

– Князь, подсади свою государыню на коня, – нарочито строго повелела Глинская.

– Как прикажешь, Елена Васильевна. – Уловив ее игривый тон, конюший испугался не на шутку. – Эй, холопы, лестницу для великой княгини несите!

В традициях московских государей всходить на жеребца по лестнице и сурово поглядывать на склоненные спины холопов. Подниматься нужно было не спеша, полагалось на несколько секунд остановиться на каждой ступени, а потом торжественно перекинуть ногу через седло.

– Не надо лестницы, так сможешь взобраться, – неожиданно распорядилась государыня.

От такого пожелания Иван Федорович совсем ошалел.

– Государыня, так ведь...

– Или у тебя, боярин, рук нет, чтобы их под ногу великой княгине подставить? – строго оборвала конюшего Елена Васильевна.

– Не сочти за дерзость, матушка, – глухо отозвался Иван и сложил ладони в лодочку.

Елена Глинская ступила на руки конюшего, и они закачались, словно ладья в бурю. Иван Федорович охмелел от душистого запаха ее волос, а длинный подол платья, словно дразня, коснулся его разгоряченного лица.

Конь, почувствовав на спине государыню, присмирел. Вот она – достойная ноша, которую не стыдно пронести через всю Москву! И жеребец горделиво колыхнул густой, тяжелой гривой.

– Ворота распахнуть! – распорядилась государыня.

– Ворота распахнуть для Елены Васильевны! – сумел оторвать глаза Иван от ее лица. – Да пошире! Ни к чему это великой княгине через щель протискиваться.

И когда конюхи широко растворили трехстворчатые ставни ворот, государыня угостила коня по крупу двенадцатихвостой шелковой плетью, и тот, возбужденно хрипя, вырвался на свободу.

Третья встреча с великой княгиней состоялась в Архангельском соборе. Будто бы нечаянно коснулась рука Елены ладони конюшего, когда она проходила мимо, вслед за этим губы ее озарила лукавая улыбка.

Не только для бояр, но и для всех москвитов было ясно: государь бесплоден, и тысячи свечей, что ставились во всех церквах и соборах в надежде на чудесное зачатие, полыхали напрасно. И в конюшего закралась грешная мысль: уже не решилась ли великая княгиня разрешить свое бесплодие с помощью молодого удальца?

Непоправимое случилось в тот день, когда Иван Федорович остался дежурить подле спальных покоев государя. Князь приготовился уже к долгому и скучному сидению в сенях и обругал себя за то, что не захватил с собой посох, с помощью которого удобно поучать уснувших в карауле холопов и не слишком расторопных слуг, когда дверь неожиданно распахнулась и на пороге предстала Елена.

Конюшему полагалось склонить голову пониже и просить прощения у государыни, что посмел он нечаянно узреть ее пречистое лицо, но глаза, вопреки рассудку и воле, были нацелены прямо в ее голую шею. Князь подумал, как, должно быть, выгнется ее шея от страстного поцелуя. Возможно, она будет напоминать лебединую, когда благородная птица, набрав разбег, стремится оторваться от поверхности воды.

Иван Федорович даже не сразу сообразил, что Елена стояла простоволосая и почти неприкрытая, что наготу великой княгини скрывает лишь сорочка, через которую можно было отчетливо различить высокую, волнующую грудь.

– Что же ты своей государыне поклон-то не отдаешь? – с легкой улыбкой укорила Елена Васильевна холопа.

– Прости, государыня, бес меня попутал. – Князь опустил глаза, а потом неистово, как это делает юродивый, чтобы замолить тяжкий грех, отложил зараз двадцать поклонов.

– Поднимись, Иван Федорович. Или ты своих глаз от моих ног оторвать не можешь?

Князь Иван разогнулся.

– Чего прикажешь, государыня?

– Что же можно такому молодцу приказать? – игриво ответствовала великая княгиня. – Пожалуй, только одно – проходи в горницу, князь.

Помешкал малость Овчина, а потом перекрестился украдкой и зашагал вслед за государыней.

– А Василий Иванович-то чего? – прошептал он чуть слышно, понимая, впрочем, что не устрасит уже его даже грозный государев оклик.

Постельная комната – святое место, куда дозволения вступать имеет только постельничий. Даже дежурный боярин не мог нарушать этого заповедного правила и никогда не проходил дальше сеней. Это было гнездо всего государства, где великие князья миловались со своими женами и плодили потомство.

И тут Иван Федорович увидел постелю государеву. Она была спрятана под высоким светло-зеленым балдахином и, если бы не меховой бархат, напоминала бы походный шатер.

– Я Василию Ивановичу зелья снотворного подсыпала, – призналась государыня, – теперь он до обедни не пробудится. За мной иди, Ваня. Иль боишься? – Ее брови встрепенулись как бы от удивления. – Не думала я, что отважный воевода таким робким может быть.

Воистину ни перед какой сечей Иван так не волновался. Каждый шаг походил на движение по татарской степи – не успеешь увернуться, как голова скатится на землю. А Елена уводила конюшего все далее.

– Чего же ты робеешь, витязь? – всерьез укорила князя государыня. – Иль голую бабу никогда не видел? Иль, может, немощен, как мой разлюбезный муженек? Ежели так, молодец, вот тебе порог!

Иван почувствовал, что княгиня сердится.

– Прости меня, господи, – он попытался отыскать глазами Поклонный крест.

– Не ищи креста, – улыбнулась Елена Васильевна. – Там, где грех, их не бывает, они все в комнате государя остались. Обними меня, молодец, ну, смелее!

Иван Федорович, однако, даже не шевельнулся, стоял, словно пораженный колдовским разговором, и тогда великая княгиня сама страстно прильнула к его груди.

Овчина ушел незаметно, как и пришел. Ничто не изменилось ни назавтра, ни через день. Три часа, проведенные наедине с Еленой, не помешали конюшему смотреть Василию Ивановичу в лицо и называть его великим государем.

Елена Васильевна тоже не стала другой.

Во время ее шествия по дворцу стража так громко извещала об этом, что встречающиеся на пути бояре проворно прятались по комнатам. А когда Овчина-Оболенский сделал вид, что не успел укрыться, и осмелился взглянуть на государыню, то Елена обдала его таким холодом, что он тут же бросился отбивать многие поклоны.

Однако Иван никогда не упускал случая повидаться с великой княгиней. Он старался бывать там, где обычно появляется государыня: на выездах по святым местам, на молениях, прогулках по городу. Но Елена Васильевна при встречах с ним неизменно оставалась холодной, напоминая ледяного идола, каких частенько выстраивают на Масленицу баловники-отроки.

Да была ли вообще та июльская ночь, стало западать в голову князю, когда государыня вдруг оказалась к его телу куда ближе, чем собственная рубаха?

Но однажды двор его посетила незваная гостья. То, что это была великая княгиня, он понял лишь после того, как Елена потянула за конец платка и открыла свое прекрасное лицо.

– Господи, – в растерянности выдохнул Иван Федорович.

– Что же ты меня у порога держишь, князь, или, может быть, государыню видеть не рад?

– Елена Васильевна! Да что же ты такое говоришь! Только возжелай, и я для тебя весь двор коврами устелю!

Многочисленная челядь Оболенского даже не взглянула на гостью. Ни платьем, ни обувкой, ни чем иным невозможно было угадать в ней великую княгиню.

– Как же ты, голубица моя, из клетки своей золотой выпорхнула? – попытался пошутить Иван Федорович.

– Сказала Василию Ивановичу, что молиться пошла, вот он меня с девками и отпустил.

– А девицы-то где? – не на шутку перепугался Овчина.

– Что ж ты так, князь, заполошился? Иль мила тебе не я, а мои девицы?

– Не о том ты говоришь, государыня. Девки как бы на тебя напраслину не возвели.

– Ах, вот ты о чем! Не стоит тебе переживать, князь, мои девки лучше языка лишатся, чем худого о своей государыне станут молвить. Господи, кто бы мог подумать, что блудницей начну к боярам своего мужа шастать, – вздохнула великая княгиня, сбрасывая одежду.

МЕЖНЯК

Василий был большим знатоком леса и любил забавляться тем, что токовал глухарем. Да так ладно у него это получалось, что на его пение слеталось немало самочек.

Сейчас государь наблюдал за межняком – птицей скверной и драчливой, плодом греховной любви тетерева и глухарки. От родителя своего он отличался крупным телом, от матушки – более светлым пером. Редко приживалась эта птица в стае и обычно напоминала пасынка у недоброй мачехи. Старшие сводные братья не упускают случая, чтобы клюнуть его побольнее, ущипнуть. Вот оттого вырастает межняк непокорным и задиристым, всегда готовым принять неравный бой даже с более опытной птицей, и не беда, если обдерут перья и разорвут гребень.

Неуютный характер межняка хорошо заметен во время кочевков, когда птица норовит отбиться от общей стаи, а то и вовсе увлечь за собой глупый неоперившийся молодняк. Виден межняк и при кормлении, когда пытается оттеснить старших петухов. Но особенно разность породы заметна при весенних поединках, где межняки действуют так же задорно, как кулачные бойцы в хмельную Масленицу. Ведут они себя шумно, громким, отчаянным криком пытаются запугать соперника, без конца хлопают крыльями, а клювом непременно стараются угодить в глаз и так выбрасывают вперед ноги, что шпорами ранят поединщика.

Тетерева от боя с межняком обычно стараются уклониться и видят в нем бесчестного бойца, который для кулачной драки всегда приберегает острый клинок.

Василий Иванович, спрятавшись за куст рябины, внимательно наблюдал за тем, как сходятся промеж собой крупный тетерев и межняк. Тетерев был спокоен, напоминая старого воина, у которого за долгие годы жизни позади осталась не одна подобная сеча. А межняк казался не в меру возбужденным – никак не мог устоять на месте и так громко хлопал крыльями, что временами заглушал клекотание взволнованных самочек.

Если тетерев подступал к сопернику спереди, не спеша, едва поднимая крылья, то межняк старался обежать петуха со стороны и нанести ему быстрый удар острым когтем. Он действовал не по устоявшимся правилам и вводил в смятение искушенного воина, привыкшего к честным поединкам.

Наконец птицы сошлись грудь о грудь. Вот оно, то мгновение, когда бойцовский характер должен показать старый тетерев, но петух тут же был опрокинут соперником и мгновенно втоптан в снег. Межняк избивал его методично – клевал в голову, наносил удары когтистыми лапами и больше напоминал драчливого детину, чем птицу. Наконец тетерев поднялся, отряхнув перья. Он некоторое время смотрел на противника, как будто спрашивая: «А где же устрашающая поза и бойцовский танец, которые положены перед схваткой?» Но ответом ему был коварный удар лапой в самую шею.

Тетерев содрогнулся, некоторое время стоял неподвижно, потом гортанно прокукарекал и завалился боком в почерневший снег.

– Видал? – Великий князь повернулся к Овчине-Оболенскому.

– Видал, великий государь, – отозвался Иван Федорович, потрясенно глядя на растерзанную птицу.

– Елена... супружница моя, тяжела, – неожиданно произнес Василий Иванович. – Наследника я жду, боярин.

– Вот оно что! – подивился новости Иван, одновременно соображая, что зачатое княгиней чадо может быть его дитем.

А межняк еще немного потоптался у растерзанного тельца, будто ожидая, что петух, собравшись с силами, вспорхнет с красного снега и, выставив вперед грудь, захочет посчитаться с обидчиком.

Но тетерев молчал, и межняк повернул к тетеркам, бойко и уверенно выбрасывая вперед лапы.

Самки беспокойно зашевелились, а потом разлетелись в разные стороны, оставив в недоумении буйного ухажера.

– Межняку пары не найти, – уверенно изрек великий государь. – Не та птица, чтобы потомством обзаводиться. Гордая шибко и злая. Тетерки их страшатся, а петухи от боя уклоняются. А ежели все-таки до поединка доходит, то без убийства не обойдется. Насмерть бьет межняк! Бывает так, что ежели он сердит шибко, то бьет поваленную птицу даже мертвой.

– Слышал я об этом, государь, – протянул Иван Федорович, в голове которого смешались впечатление от увиденного и мысли о Елене Васильевне. – Петухи между собой насмерть никогда не дерутся, а межняк – птица боевая и старшинства над собой не признает.

– Потому эту помесь из стаи и изгоняют. Бывает так, что набросятся петухи все разом на межняка и заклюют его до смерти.

– Так и в жизни, государь, бывает, когда молодцы хотят наказать вздорного детину. Птица – и то порядка желает, а каково же нам, холопам?

Следом за перепуганными тетерками взмыли петухи. Поднялись шумно, громко стуча крыльями. Эдакая темная туча, родившаяся прямо из груди снега.

Государь поднял пищаль и выбрал в стае крупного тетерева с красной отметиной на махонькой головке. Некоторое время он наблюдал за тем, как птица уверенно, с каждым взмахом набирает высоту. А потом перевел ствол на межняка, по-прежнему неподвижно стоявшего среди примятого снега.

Тот терпеливо ждал, когда тетерки вернутся. Вот сейчас они сделают над лесом круг и опустятся прямо перед межняком, признавая его своим мужем. Но тетерки продолжали удаляться. Межняк гортанно пророкотал, как будто удивляясь дерзости курочек, а потом взмахнул крыльями – в стремлении догнать и наказать непокорных жен. Но когда его мясистое тело взметнулось над лесом, почти касаясь островерхих елей, прозвучал громкий выстрел. Он потряс дремучий ельник и мгновенно смахнул с разлапистых веток горы снега. Межняк кувыркнулся в воздухе и, обдирая перья об острые иглы, упал на снег.

– Видал? – повернулся государь к холопу.

– Видал, Василий Иванович.

– С одного выстрела сразил, не каждый пищальник на такую меткость способен. Пойдем, Иван, глянуть хочу.

Межняк был красив, как и всякое дитя грешной любви. Он лежал распластанным на черной проталине, закинув бородатую голову далеко назад, там, где еще несколько минут назад шел поединок. Птица напоминала воина, почившего на поле брани, и Овчина-Оболенский едва сдержался, чтобы сжатыми пальцами не перекрестить застывшие очи.

– Хороша птица. – Василий Иванович поднял межняка за лапы, и тот, широко раскинув огромные крылья, будто застыл в последнем полете. – Эй, стольники, где вы там? В сумку петуха кладите да снесите в возок, а мы с князем Оболенским еще побродим.

– Повезло тебе, государь, – протянул князь, почти завистливо созерцая убиенную птицу. – Такой же большой, как глухарь, а вот мясо у него помягче голубиноного будет.

– Верно, – мечтательно протянул Василий Иванович и вспомнил о том, что повелел стольникам запечь белорыбицу в глине. – Хорошо его в уксусе смочить, тогда оно нежнее куриного делается. – Глаза великого князя блаженно прикрылись, как будто он уже держал в своей руке ложку с наваристым супом.

Василий Иванович разбирался не только в охоте; каждый из бояр знал, что он на вкус определял любое мясо и мог сказать, как оно приготовлено, какие травы и в каком количестве положены в блюдо.

– Государь, – решил заговорить о главном Иван Федорович, – жениться я надумал. Не век же мне холостым ходить. Ты уж, государь, благословил бы меня.

– А девку себе какую выбрал? Вы, князь, все заморских присматриваете. Может, турчанку темноволосую в жены метишь?

– Помилуй меня, великий государь! Разве я способен на такое? Из православных я девицу выбрал, Марусей кличут, из рода Холмских.

– А девка-то пригожа?

– Ликом приятна, а станом гибка.

– Хорошо, ежели так. Женись себе! Завтра ко двору с невестой придешь. Видеть хочу твою суженую, а если приглянется мне, так ожерелье подарю.

– Слушаюсь, государь Василий Иванович. – И князь, взяв в две руки протянутую государеву длань, коснулся губами ее прохладной кожи.

Овчина-Оболенский беременность Елены Васильевны воспринял как предостережение судьбы и решил расстаться с Глинской навсегда.

ПЕРВЕНЕЦ

Великая княгиня разродилась сыном в пятницу, в тот самый памятный день, когда вихрь в дугу скрутил на Архангельском соборе крест и порушил стены Чудова монастыря. В народе заговорили, что это черти праздновали бесовскую свадьбу, а потому младенец несет на себе дьявольскую отметину.

Во спасение новорожденного монахи во всех соборах Москвы промолились целую неделю в три смены, оружейники выправили упавший крест, и скоро дурная примета позабылась.

А на перекрестках, где для острастки нечистой силы московиты, по обыкновению, ставили кресты, государь повелел на перекладинах вывесить белые полотенца, чтобы задобрить суровую Параскеву Пятницу.

Так полотнища провисели полных три дня, а когда ткань замаралась от грязи и пыли, караульщики, оставленные для бережения, вернулись во дворец, и бродяги растащили рушники на обмотки.

Государево чадо окрестили Иваном. Сорок дней великий князь запрещал выносить дитя на улицу, чтобы лихие люди по ветру не навели на наследника порчу, а когда младенец окреп, он взял его на руки и вынес на Красное крыльцо, чтобы тот мог увидеть свою вотчину.

– Смотри, Иван Васильевич, – говорил государь, высоко подняв младенца над головой, – твоя эта земля! И город, и лес, и река. Все твое – куда глаза ни посмотрят!

Чадо совсем не интересовало бескрайние просторы русских земель, и он орал так истошно, что у стоявших рядом мамок закладывало в ушах.

– Я помру, все твое, сынок, будет! И двор московский, и людишки при нем.

– Ты бы дитяtko, государь, не тискал, а то весь криком изойдет, – подсказала одна из мамок.

– Ничего, пусть крепость батюшкиного объятия сполна отведаст. Кто его еще так прижмет, как не родной отец?

О том, кто у него народится, Василий Иванович начал мучиться едва ли не сразу после зачатия младенца. Повитухи, поглаживая живот Елены Васильевны, глаголили о том, что должна появиться дочь. Недовольный таким пророчеством государь призвал в подмогу самого Филиппа Крутова, и тот, едва глянув на Елену, лежащую на постели, хмыкнул:

– От греха грех и родится.

– Чего ты мелешь такое, колдун, ты дело говори, – нахмурился великий князь. – Скажи, кто народится?

– Малец будет, государь. Но вот на радость ли? – И, ни с того ни с сего расхохотавшись, мельник покинул Постельную комнату.

Василий Иванович, вопреки заведенным обычаям, много времени отдавал сыну и, не стесняясь веселых улыбок боярышень, частенько качал сына в колыбели.

Наследник рос быстро и уже в девять месяцев, окруженный многочисленными мамками и боярышнями, криволапо семенял по московскому двору. А когда дитяте исполнился год, Василий Иванович торжественно протянул сыну золотое яблоко – символ самодержавной власти – и строго произнес:

– Владей! Здесь – все твое государство, и, смотри, в дерьмо державу не урони.

Яблоко оказалось любимой игрушкой наследника. Он без конца вертел его всяко, наблюдал за золотыми бликами, с радостным писком катал державу по полу. Но особенно Иван любил палить яблоком в кур. Выберет птицу покрупнее и что есть силы запустит державу в ее голову.

– Что это тебе? Снаряд, что ли, пушечный? – ругал не однажды несмышленного дитяню государь.

Вельможи дружно вздыхали и, глядя на то, как Иван, бегая по двору, сшибает с ног юродивых старух, сходились на том, что с наследником государству не повезло и было бы куда проще, ежели бы у великого князя народилась дочь.

ПОЕДИНОК

С некоторых пор Овчина-Оболенский стал частенько наведываться в Пьяную слободу, которую государь специально отстроил для своих ближайших слуг, чтобы они могли после праведного труда выпить сладкой медовухи и откусать пирогов из великокняжеских подвалов.

Хозяин корчмы – дядька лет пятидесяти – держал для конюшего отдельный стол и припасал испанского вина. Боярин всегда платил три деньги за стакан, а потому, когда он перешагивал порог избы, мужчина вместе с дочерьми выходил навстречу гостю и низко кланялся.

– Давненько не захаживал, Иван Федорович, – и в этот раз чуть ли не до полу согнул шею хозяин.

– Едва добрался, – хмуро отвечал боярин. – Водяной нынче шибко раздражен. Мосты через Неглинную порушил, всю рыбу распугал, у Кремлевского бугра струг с рыбаками перевернул. Насилу вытащили, бедных. – Иван смахнул рукавом испарину, и стало ясно, что это именно он тянул из воды за шиворот тонущих рыбаков.

– Испанского вина тебе нужно выпить, князь, – посочувствовал хозяин.

Вино было крепким, и Ивану Федоровичу заметно полегчало уже после первого стакана.

В этой корчме собиралось едва ли не все московское боярство, которое любило отводить душу в долгих разговорах после претяжкой государевой службы.

Корчма понемногу заполнялась «лучшими людьми», как себя называла московская знать, и боярские дети,²⁷ стараясь не тревожить верхних вельмож, присаживались у дверей, где столы были поплоче, а вместо скатертей стелились разноцветные тряпицы.

– Чего же ты, князь, скучаешь? – подсел к Ивану Федоровичу окольный Андрей Батурлин. – Или тебя развеселить некому? – Он сделал добрый глоток медовухи. – А я слышал, что сама государыня Елена Васильевна к тебе в утешительницы напрашивалась.

Напрягся князь, как петух перед встречей с лисицей. Батурлин Андрей слыл детиной скандальным – не проходило ни единой недели, чтобы он не ввязался в драку, и мог, просто для большой потехи, отгаскать за волосья чужого холопа. Его лицо постоянно было в царапинах и в синяках, которые он носил так же гордо, как боярин соболиную шубу. Ни один кулачный праздник не проходил без участия окольного Батурлина, где тот, невзирая на знатную породу, бился плечом к плечу с черными людьми и крестьянами.

– Что ты такое мелешь? – сощурил конюший глаза, враз вспыхнувшие недобрым огнем.

Окольный приложил уста к медовухе и сделал еще несколько глотков.

– Это я-то мелю? Мельник мелет! – весело отозвался молодец. – Весь город о том глаголет, что ты государыню московскую утешаешь. А потом, как она тебе от ворот показала, так ты ожениться решил, чтобы кручина не такая шибкая казалась.

Внутри князя Оболенского стало невыносимо жарко. Следы багрянца появились на его щеках.

– Господи, чего только не наговорят!

– А ты на господа-то не сваливай. Чтобы в Опочивальню к великой княгине проникнуть, нужно нечистого в помощь призвать. – Медовуха была забористой и душистой. Андрей наслаждался каждым глотком, а лицо его стало блаженно-приторным. – А еще на московском дворе молвят, что будто бы наследничек государя от тебя народился. А ты пей, князь, чего это ты стакан с испанским вином в сторонку отодвинул. Оно послаще будет, чем медовуха.

– Врешь!

– Чего же мне врать, ежели я сам не единожды испанское вино попивал? – будто всерьез удивился Батурлин. – Видно, ценит тебя наш хозяин, вот оттого и потчует сладко. Наверняка

²⁷ Боярские дети – мелкие дворяне, обычно несущие военную службу.

думает Василий Иванович тебя на свое место после смертушки посадить. Чего же ты примолк, Иван Федорович? Или, может быть, ты насчет сына своего сомневаешься? Это ты зря! Лукавство здесь ни к чему. Твое чадо! – И, едва не вплотную приблизив свое лицо к Оболенскому, продолжал: – Болел наш государь, когда Елена понесла. Не до плотских утех ему было. К тому же стар он и бесплоден. Так что ты ему пособил. Нечего тебе сказать, князь, вот потому ты и примолк.

Оболенский оглядел кабаньи глаза Батурлина, перебитый в многочисленных драках нос, расцарапанное вкривь и вкось чело и что есть силы двинул стаканом прямо промеж бровей окольного. Вино брызнуло в разные стороны, залило глаза охальнику, а осколки беспорядочно рассыпались по скользкому полу.

Андрей Батурлин сумел усидеть на месте, потом смахнул рукавом капли вина и крови, поднялся из-за стола и произнес во всеуслышание:

– Требую поля и поединка.

– Будет тебе поединок, скоморох пивной, – сплюнул на стол соплю конюший и, натянув по самые уши бобровую шляпу, двинулся к выходу, не заплатив. – И вино у тебя дрянь, хозяин, и угощение хреновое.

Биться супротивники договорились до смерти, а чтобы поединок не походил на убийство, за повелением обратились к государю, который решил назначить им в недельщики Михаила Глинского. Он-то и определил время и место поединка.

Главным судьей в Москве уже второй год был князь Андрей Шуйский. Бояре глаголили о том, что брал он с виноватых до десяти алтын, большая часть из которых затерялась в глубоких княжеских карманах, и что будто бы на вырученные деньги он отстроил уже вторую деревеньку.

Местом поединка стало устье Яузы. Отсюда хорошо был виден Покровский собор, по другую сторону выпирала кремлевская стена.

– Согласны ли вы решить дело миром? – больше для порядка спросил Глинский. Ответ он предвидел заранее.

– Нет, – через стиснутые зубы выдавил Батурлин. – Не для того я искал поединка, чтобы отказываться от него.

– Боя желаю, – коротко отвечал конюший.

– Вижу, что примирения у вас не получится. Тогда хочу спросить, чем драться желаете? Мечами или палками?

– А я с ним и на кулаках слажу, – произнес окольный.

– Что ж, на кулаках, так на кулаках, – согласился Овчина.

В дело вступил Андрей Шуйский:

– Пусть божий суд решит, кто прав, а кто виновен. Кто в живых останется, того, знать, господь своей дланью от удара прикроет. Деньгу я получу с виноватой стороны. А теперь скидайте охабни и заворачивайте рукава. А вы, ротозеи, не мешайте поединщикам. Если надумаете неправдой тревожить, так с каждого зачинщика по алтыну возьму, – пригрозил князь кулаком в сторону зевак, среди которых были холопы и Батурлина, и Оболенского.

Андрей Шуйский не однажды становился свидетелем того, как челядь немедленно вступалась за хозяина, когда видела, что тому приходилось туго. И тогда поединок больше напоминал побоище, чем божий суд. В ход шли не только камни, подобранные под ногами, но и длинные колья, вырванные из плетней.

– Как же мы смеем, боярин, – ухмылялись холопы, пряча под тулупами аршинные дубины, – на то оно и божий суд.

Шуйский, однако, не сомневался, что слова их – пустые.

– Знаю я вас, бесов. Такую свалку можете учинить, что и спросить потом будет не с кого. Яшка! – окликнул князь легконогого подьячего, который никак не мог устоять на месте и напоминал козленка, прыгающего под веселую дуду. – Веди скоморохов с медведями.

– Слушаюсь, боярин. – И подьячий юркнул в заросли ивняка.

Через минуту раздался медвежий рык и треск поломанных сучьев.

– Вот что я вам скажу, – князь Шуйский строго оглядел зевак, – ежели вы надумаете в поединок вступать, то медведя на вас напущу, а он уж сумеет вас разогнать. Понятно ли глаголю?

– Как же не понять, боярин, – мрачно отозвался за всех москвитов бородач, с опаской поглядывая на огромного зверюгу.

Медведь заинтересованным зрителем уселся неподалеку от поединщиков и принялся терпеливо дожидаться боя.

– А теперь сходитесь!

Молодцы медленно двинулись навстречу друг другу. Своим осторожным приближением они напоминали бойцовских петухов, которые пристально выбирали место, чтобы клюнуть супротивника пошибче. Петушиной была даже поступь: грудь крута, ноги враспорырку, движения кругами.

Андрей Батурлин ударил первым, и, если бы Овчина замешкался хоть на мгновение и не отстранился назад, кулак нападавшего встретил бы грудь конюшего.

– Что же это ты, окольниковый, так неловок? – надсмехался Иван. – Или я так мал, что ты в меня даже попасть не можешь?

Зыкнул сердито Батурлин и повыше закатал сползший с локтя рукав.

– А ты, я вижу, пересмешник, князь. Да недолго тебе шутковать.

Окольниковый с силой выбросил руку вперед, стараясь угодить Оболенскому в корпус, но князь опять умело уклонился, пропустив кулак Батурлина над самым плечом.

– Ты все бахвалился, что знатный кулачный боец, так где же твоя удаль, окольниковый? Может, ты ее всю в корчме поразменял?

Об Андрее Батурлине и вправду ходила молва о том, что он удалой боец и за два стакана красного вина готов принять участие в любой драке. Не однажды ему приходилось на божьем суде отстаивать правду истца. И не однажды после божьего судилища его противника сносили сразу в церковь.

Предстоящий спор многим виделся неинтересным – слишком несоразмерными казались силы. Ясно было, что против такого искусного драчуна, как Батурлин, князю Оболенскому, который привык больше распорядиться, чем размахивать кулаками, не устоять. Впрочем, некоторые вспоминали о том, что рос Иван Федорович бедовым детиною и в юности шага не делал без того, чтобы не стукнуть кому-нибудь в ухо.

А тем временем князь уверенно уходил от ударов, то пригибаясь, то отклоняя корпус в сторону, и постепенно такими действиями выматывал противника. Он постоянно оказывался в самом неудобном для окольникового месте: то заходил сбоку, то вдруг отскакивал далеко назад, а то забегал за спину.

Москвиты боялись пропустить даже мгновение поединка. Теперь всем стало понятно, что Батурлин повстречал куда более умелого поединщика, чем он сам, который забавляется с ним, как молодая лисица с пойманной полевкой.

Совсем немногие подозревали о таком исходе боя с самого начала. Это были люди, которые знали, что князь Оболенский в отрочестве два года воспитывался в монастыре у суровых схимников. А среди них оказалось немало бывших ратников, которые чтити кулачные бои так же свято, как ежедневные молитвы. И, выйдя из обители, юноша научился не только правильно вытягивать «Отче наш», но еще и крепко раздавать оплеухи обидчикам. Это мастерство, при-

обретенное за стенами божественной твердыни, не однажды выручало его в немилосердных схватках.

Андрей Батурлин изрядно подустал; теперь он старался бить наверняка, чтобы точным ударом сокрушить своего удалого соперника. Окольничий подошел на расстояние вытянутой руки и, когда борода Овчины почти упиралась в его грудь, сделал решительный замах. Батурлин метил Ивану Федоровичу прямо в подбородок. Он подался вперед всем корпусом, встав на носки, чтобы удар получился как можно более внушительный, как вдруг Овчина-Оболенский поднырнул под руку и двинул окольничего локтем в лицо. Батурлин опешил только на мгновение, но этого оказалось достаточно. Кулаки князя работали так же скоро, как лопасти мельницы, стоявшей на быстрой реке. И огромная фигура окольничего подгнившим столбом рухнула на землю, разворотив под собой комья ссохшейся грязи.

Некоторое время Овчина-Оболенский стоял над Батурлиным, как богатырь над поверженным Соловьем-Разбойником, а потом повернулся к Шуйскому:

– Так на чьей стороне господь, князь?

– На твоей, боярин, – охотно согласился судья. И тут московиты услышали голос Михаила Глинского:

– Никак ли помер окольничий?

Нагнулся Оболенский над поверженным врагом и отозвался участливо:

– Дышит едва. Через минуту отойти должен. – И, когда окольничий закатил глаза, объявил: – Все, отошел его дух к небу.

– С кого же мне теперь десять алтын взять? Со вдовы аль, может, с отца Батурлина? – зачесал рыжеватую бороду Андрей Шуйский.

– Со вдовы, – посоветовал Глинский.

– Нет, лучше взять с отца, – сказал свое слово Оболенский, – ему не так горше, как вдове, будет. Мужики-то покрепче баб будут.

– Бабы, они существа семижилные, любую беду вытянут, – заспорил Глинский. – Да и не так бедна вдова, чтобы с нее десять алтын не взять.

– Я так, бояре, думаю, – со значением произнес Шуйский. – Деньги за суд надо взять и со вдовы, и с отца покойного. Пускай платят по пять алтын.

Вдруг на небе жутко загрохотало, а потом разом все смолкло, и, если бы не затихающее в лесу эхо, можно было бы подумать, что удар грома примерещился.

– Что за напасть такая? – подивился Овчина-Оболенский.

– Это покойник тебе знак подает, – возник из толпы мельник Филипп. – Ежели ты его крестовым братом не станешь, так он твою душу с собой заберет.

– Вот оно как. – Иван Федорович глянул на небо, откуда на него должна была смотреть душа почившего Андрея Батурлина, и размашисто перекрестился, отгоняя лихие силы.

Окольничий лежал в сосновой домовине, где в трещинах свежеструганых досок проступала прозрачная пахучая смола. Смирный, тихий, он совсем не походил на себя прежнего – забияку и квасника.

– Успокоился, Иисусе, – вместо приветствия хмуро произнес Иван Овчина-Оболенский, перешагивая порог.

Перекрестился князь троекратно, а потом маленькими шажками, не озираясь по сторонам, приблизился ко гробу.

– Господи, – выдохнул кто-то за спиной, жалеючи.

Поклонился князь Иван Федорович низенько, а потом заговорил тихонько:

– Ты уж не обессудь на меня, Андрей Пантелеймонович, так уж вышло. Кто бы мог подумать. Э-эй! Теперь уже не воротить прежнего. Братом я твоим хочу стать... крестовым. Не пожертвуешь ли ты мне свой крестик, а я свой тебе отдам... золотой и с камнями изумрудными.

Медленно склонился Иван Федорович над покойником и едва не загасил дыханием свечу у изголовья. Князь поцеловал окольного в холодные неподвижные губы, а потом снял у него с шеи медный крестик.

– Спасибо тебе, Андрей Пантелеймонович, за подарок. Теперь меня ни одна вражья сила тронуть не посмеет. А ты мой крестик возьми, сердешный, тебя с ним хорошо встретят. Это распятие сам митрополит освящал.

И, нацепив на шею «подарок», конюший покинул дом.

ХРАМ ГОСПОДЕНЬ

Храм Вознесения в селе Коломенском был возведен в честь долгожданного наследника.

Поначалу Василий Иванович хотел призвать в столицу итальянских мастеров, которые особенно были искусны в каменном ремесле, однако, подумав, решил не опустошать казну напрасными тратами. И скоро в Москву прибыли новгородские и псковские каменщики, которые пообещали, что собор будет возведен ко дню ангела юного наследника.

Государь пожелал, чтобы сей храм напоминал церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи в селе Дьякове и был так же вместителен для молящихся.

Мастеровые, успевшие построить за свою жизнь не менее двух десятков мурованных соборов, твердо возразили, что храм не будет похож ни на один виденный, а вот молиться в нем смогут зараз до тысячи христиан.

Государь улыбнулся на хвастливые слова, но отметил каждого из каменщиков, наделив кого рублем, а кого обувкой, прочим подмастерьям повелел выставить по стакану рейнского вина и отпустил с миром.

Но когда через полгода явились от каменщиков скороходы и сообщили, что храм почти возведен и следовало бы государю не поскучиться на шатровую крышу, Василий Иванович едва не повелел отхлестать лжецов розгами за напрасные речи.

Закладка мурованного собора для Руси – такое же важное событие, как начало военного похода или заключение мира с давним супостатом. А когда освящались стены, то колокола всех соборов Руси захлебывались в ликовании.

Место для храма отбиралось всегда особо тщательно, землю кропили святой водой, воздух очищали благовонным ладаном и вдоль предполагаемых стен устраивали крестный ход, где впереди несли чудотворные иконы и хоругви.

Строительство мурованных соборов всегда шло трудно и могло затянуться на годы, а тут едва минуло шесть месяцев, как явились посланцы с благой вестью.

– Как же это вы так скоро? – подивился государь.

– Пили мало, Василий Иванович, – откровенно отвечал скороход. – Только по воскресеньям и отводили душу в хмельной радости. А еще каждое утро в святой воде умывались, вот это и подтолкнуло нас на доброе дело. Может, взглянуть, государь, желаешь?

– Желаю! Эй, рында, вели запрягать коней. В село Коломенское едем.

То, что увидел государь в Коломенском, и вправду не походило ни на что, встреченное им ранее. С Василия Ивановича едва ли не слетела шапка, когда он, задрав голову, решил оглядеть дощатый шатер. А главный мастеровой, выстроивший более дюжины соборов византийского вида, бахвалился:

– Этот храм ни на один виденный не похож. Крестом он строенный, так при Владимире Мономахе деревянные церквушки воздвигали, а мы вот камни отважились ставить.

– Храм-то не напоминает Дьяковскую церковь.

– Не напоминает, государь, ох не напоминает, – охотно согласился мастеровой, – только собор оттого хуже не сделался.

– Верно глаголишь, – примирительно кивнул головой Василий Иванович.

– Денег на шатер отсыплешь, государь?

Собор был строен широко, стоял в центре луга и напоминал потушенную свечу. Рядом с взметнувшимся ввысь сооружением государь почувствовал себя младенцем. Он как будто сразу порастерял свое самодержавное величие. Не удержался Василий Иванович от соблазна и низенько поклонился чуду.

– Как строена! Добрая память обо мне останется. Дам денег, сколько потребуется, а еще сверх того по десяти алтын получите.

– Спасибо, государь, – в благодарность тряхнул седовой бороде мастерской. – Знали мы, что собор в честь наследника строится, вот потому и старались как никогда. Только одних яиц двадцать пудов ушло.

– Ишь ты!

– А без того нельзя, – развел руками каменщик, – иначе кирпич сыпаться начнет. Золотишком бы купола поддобрить, тогда храм за двадцать верст виден будет. А в солнечную погоду так он огромным костром полыхать станет.

– Дам я тебе злата, – неожиданно согласился Василий Иванович. – Пускай оно на славу наследника пойдет.

Отошел государь подальше и глянул на возведенный собор. «Удался храм на славу!» – подумал он и решил, что на следующее воскресенье привезет с собой бочку пива.

Храм Вознесения был отстроен к самому листопаду.

Поначалу Василий Иванович хотел перенести освящение и торжественное открытие на более позднее время – на месяц грудень,²⁸ или на долгий студень²⁹ но, поразмыслив, решил поторопиться с праздником.

Уже все было готово к выезду, как вдруг великому князю занедужилось. Спину заломило так, будто сам лихой взобрался к нему на плечи, дабы погонять его. Попробовал было государь разогнуться, но в пояснице так затрещало, что ему не оставалось ничего лучшего, как призвать на подмогу рынд и велеть отнести его к стольному месту. Тут болезнь будет не так заметна, и отсюда он сумеет управлять вельможами, не наклонив шею, а гордо распрямив спину.

– Позвать ко мне Овчину Ивана! – распорядился самодержец, а когда боярин незамедлительно явился, поведал: – Занедужилось мне что-то, Иван Федорович. Ежели к храму Вознесения поеду, то боюсь, что моя душа по дороге сама к небу вознесется. Вот что я хочу сказать тебе, конюший.

– Слушаю тебя, государь.

– Всегда подле великой княгини будь и помощь ей всякую оказывай. Не прогневай меня отказом – знаю, что не в обычаях русских постороннему подле государыни быть. Только ведь Елена Васильевна после рождения дитяти слабенькой стала, и мужнина рука здесь нужна, чтобы поддержать ее вовремя. Чести такой рынды удостоиться не могут, а мамкам, нянькам да боярыням не всякий раз довериться можно. Не откажешь, Иван Федорович? Ведь подмечал я, как ты на нее во время моления смотришь. Этот взгляд о многом может поведать.

Смутила такая речь князя Оболенского. Уж не прознал ли государь о его запретной любви – вот и желает проверить своего холопа отказом. А согласись Овчина на просьбу самодержца, так окликнет верных рынд и повелит набросить на его руки железо.

Но великий князь смотрел спокойно, без ехидства, и Иван Федорович твердо произнес:

– Ты – мой государь, Василий Иванович, я же – твой холоп. Как накажешь, так тому и быть.

²⁸ Грудень – ноябрь.

²⁹ Студень – декабрь.

ОСВЯЩЕНИЕ

Всю дорогу Овчина-Оболенский ехал подле каптаны великой княгини.

Небольшие оконца были зашторены, лишь в самой середине оставалась светлая полоса, через которую пробивался дребезжащий свет фонаря. Только однажды занавеска сдвинулась и князь увидел бледное лицо государыни.

У храма Вознесения собрался весь церковный чин. С соседних митрополий съехались архиереи и игумены. Священники без конца кадили, и благовонный ладан, словно дым от костра, поднимался к небу.

Митрополит Даниил стоял в окружении архиереев. Его огромная фигура, облаченная в схимную рясу, была видна издалека. Румяное лицо иерарха как никогда прежде напоминало наливное яблоко, поскольку митрополит с утра не успел подышать серным дымом.

Даниил ждал приезда государя. При его появлении надо будет запалить свечи и на все стороны, обеими руками, отдать благословение подоспевшей пастве.

Однако вместо Василия Ивановича к собору подкатила каптана государыни, запряженная тройкой гнедых мерин. Крякнул с досады митрополит, но свое неудовольствие высказывать не посмел.

– А теперь, братья мои, освятим стены, и чтобы не сумела проникнуть в них нечистая сила, и чтобы молилось в этом православном соборе так же кротко и сердечно, как и в тех обителях, что были строены нашими боголюбивыми прадедами.

И, взяв в руки зажженные свечи, возглавил крестный ход.

Дверца каптаны отворилась, и московиты как по команде нагнули головы, опасаясь порочными взглядами замарать святой образ великой государыни.

Елена Васильевна мгновение созерцала согнутые спины, а потом, рассмотрев среди бояр Оболенского, прикрикнула:

– Что же ты, Иван Федорович, застыл? Или московской государыне тебе руки гадко протянуть?!

– Помилуй меня, матушка. – Конюший стал пробираться через затихшую толпу, наступая московитам на ноги.

– Или наказ Василия Ивановича не про тебя? А может, ты его плохо слушал?

– Старательно внимал, государыня.

– Так что же тебе повелел великий государь?

– Быть подле тебя и оберегать всяко.

– Вот и оберегай всяко московскую государыню! – произнесла Елена Васильевна сердито и сунула тонкие длинные пальцы в жесткую ладонь князя.

Иван Федорович взял руку осторожно, как головешку с полыхающего костра. Его вдруг затрясло, как от лихоманки.

А торжество между тем началось. Дьяки затащили псалом, а миряне, пристроившись в хвост крестного хода, неистово орали.

Свершив обряд, Даниил остаток святой водицы плеснул себе под ноги. Он уже не скрывал, что разочарован отсутствием государя, и нарочно старался не смотреть в сторону Елены, которая, по его умыслию, была не в меру вольна. Появление же конюшего рядом с государыней митрополит воспринимал едва ли не как совокупление при честном народе.

А великая княгиня и Овчина-Оболенский, словно не замечая недобрых взглядов, с улыбками счастливых суженых перешагнули порог храма. И тотчас с амвона раздались дружные и слаженные голоса певчих.

– Господи, как же красиво! – не скрывая восторга, глазела по сторонам государыня. Ее взору предстали сочные радужные фрески. – В Архангельском соборе того не увидишь.

Она подняла вверх голову. Оттуда на нее взирали спокойные и слегка строгие глаза Спасителя.

– В таком соборе даже государю не стыдно колени преклонить. Господи, – перекрестилась великая княгиня, и хрупкие ноги ее надломились в коленях.

Следом за государыней пала на пол и челядь, и только Иван Федорович остался торчать неприбитым гвоздем, но потом смирился и он.

Чадили свечи, душисто тлел ладан. Замутило благовониями голову Ивану Федоровичу, и он посмел наклониться к самому уху государыни и прошептал:

– Боже, как же ты хороша, Елена Васильевна!

У самого виска великой княгини блестели жемчужные подвески, которые слегка покачивались в такт ее дыханию. И Овчина увидел, что после его слов серебряные нити дрогнули сильнее.

– Ты хочешь сказать, что любишь меня по-прежнему, так же сильно?

– Государыня, а разве возможно любить тебя иначе? А полюбить тебя неспособен разве что слепой, который никогда не видел твоего лица.

– Господи, если бы ты мог знать всю правду, Иван!

– О какой правде ты глаголешь, государыня?

Голос певчих набрал такую силу, что затухли свечи и задрезжало стекло.

– Сына я назвала Иваном в твою честь.

В хор певчих влился сочный голос митрополита, грудь которого, словно меха под умелой рукой кузнеца, то расправлялась, то сжималась, и на каждом выдохе владыки паства успевала класть несметное множество поклонов, в усердии набивая шишки и царапая лбы.

Иван Федорович наклонился вместе со всеми, но больше для того, чтобы спрятаться от пристального взгляда московского настоятеля.

– Не знал я об этом, – распрямылся наконец конюший.

– А ты много о чем не знаешь, боярин. Ведаешь ли ты, что Иван Васильевич твой сын?

– Господи, – прошептал едва слышно Овчина-Оболенский, усерднее обычного отбивая очередной поклон. – Неужно правда?

– Правда, Иванушка, истинный бог, правда. Муж – то мой бессилён был в то время. Но я ему внушила-таки, что это его чадо. Спорить со мной он не смеет.

Иван Федорович Овчина знал, что государь велик в своем гневе и может обрушить его даже на первейшего слугу, но, помимо своей воли, заглянул в зев смерти:

– Сына хочу увидеть, государыня.

– Сегодня ночью приходи ко мне, Иванушка, ждать тебя буду с нетерпением.

– Господи, Елена Васильевна, только не в твоих хоробах. Неужно думаешь, что все слепые!

– Ежели ты боишься государя, так я его околдую! – почти вскричала великая княгиня, и если бы не песнопение, раздававшееся с амвона, то возглас Елены донесся бы даже до ушей отроков, стоявших за дверьми. – Опою его зельем, наговорю на его следы, только будь моим!

– Уймись, государыня, – совершил очередной поклон конюший, приметив, что мамки и боярышни с интересом посматривают в их сторону. – Церковь – не место для такого разговора.

– Найду управу на государя – будешь моим? – гнула свое великая княгиня.

– Вот как найдешь управу, тогда мы и поговорим, – поспешил закончить опасную беседу конюший и увидел, как в тот же миг лицо государыни просветлело.

КОЛДОВСКАЯ СИЛА

– В каждой бабе бес сидит, – жалился Филипп Крутов, – а меня все бранить не устают, что, дескать, я с водяными дружбу завел. Так моя любовь с нечистой дорогой стоит. Я за нее на всякого Купалу водяному черту свинью скармливаю, а на прочие праздники караваем хлеба угощаю. А вы как свой грех перед нечистой силой замаливаете? Свечи в церкви ставите? Так они и полкопейки не стоят. Вот вы самые грешники и есть. Ну чего ты от меня на сей раз желаешь, Соломонида Юрьевна?

– Государя желаю погубить, – твердо ответила старица.

– Ишь ты, куда хватил! – ахнул мельник. – Даже монашеский куколь тебя не успокоил. Гляжу на тебя, Соломония, и чудится мне, что из-под платка дьявольские рога торчат.

– Господь с тобой, Филипп Егорович, что ж ты такое говоришь! Неужно не ведаешь, что муж мой мне лихо желает? От безысходности своей порчу на него надумала навести.

– Слышал я об этом, – отмахнулся мельник. – Только с тобой бог должен быть, а темные силы за меня стоят.

– Грешен ты, Филипп Егорович, – перекрестилась Соломония.

– Грешен, – спокойно согласился Филипп. – А я того не скрываю и прегрешение свое под схимным одеянием не прячу.

– Вот что, Филипп Егорович, наведешь порчу на государя или нет? – теряла понемногу терпение старица. – Думаешь, ты единственный колдун в Москве будешь?

– Ладно, уважу я тебя, Соломонида Юрьевна. Сколько ты мне за мое добро заплатишь?

– А чего хошь бери, колдун, – обрадовалась инокиня. – Ежели пожелаешь, так могу и крестик нательный отдать. Он у меня с камнями изумрудными.

– Ишь ты... с изумрудами! Да ладно – великой княгине я и за так могу поколдовать. При себе оставь нательник, государыня.

Филипп Егорович Крутов был не только колдун, славился он еще и как известный колодезник, который мог сыскать водицу даже там, где быть ей не положено. Порой казалось, стоит только ковырнуть ведуну ногтем сухую землю, как источник начинает брызгать из-под ладоней смачной струей. И конечно, никто не сомневался, что на ухо мельнику нашептывает братец-водяной.

За свое природное умение колодезник плату брал небольшую, чаще всего обходилось уговором, что хозяин прибудет по первому же зову колдуна и исполнит какое-либо неприхотливое его желание.

Находить воду – такое же искусство, как лить колокола или писать иконы. Чаще это ремесло было наследственным, семейные хитрости передавались от отца к сыну и оберегались свято.

В этот раз Филипп Егорович обещал помочь с водицей самому Михаилу Глинскому. Боярин жаловался, что прежний его колодец безнадежно иссох, а скотный двор без источника так запаскудел, что зловоние чувствовалось едва ли не за версту. Вот потому Михаил Львович, преломив гордыню, поклонился колдуну и просил пособить, обещая за услугу доброго жеребца.

Покопавшись в чулане, Филипп Егорович выудил на божий свет две большущие медные сковороды, которые всегда были его неизменными спутниками в поиске воды. Мельник отряхнул их от пыли, отер подолом кафтана гладкое дно и приступил к заговору:

– Отойди жара и приди вода, отворись недра и забей ключ! – И уже совсем затаенно зашептал: – Это я тебя прошу, мать сыра земля, сын твой, Филипп. Дай воды Михаилу Глин-

скому, напои его, как поишь и потчуеть всякого зверя и разную птицу. – А затем, стукнув трижды по дну сковороды, произнес: – Кажись, все. Теперь Михаил Львович обопьется.

Глинский встретил колдуна с должным почетом – согнулся малым поклоном, бросил под ноги овчину, а когда Филипп Егорович подмял сапогами коврик, повел его на скотный двор. Рядом с ведуном крутились дворовые девки – совками загребали его следы, а метлами разглаживали дорогу, опасаясь, что ворожей принесет на боярский двор какую-либо хворобу. Колдун, глядя на девиц, только ухмылялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.